

Аркадий МАКАРОВ

На той
СТОРОНЕ



16+

@ЭЛИТА



Аркадий Макаров

На той стороне

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7272967

Аркадий Макаров На той стороне. Русская сага, или Повествования, вызванные светом непогашенной лампы: ЭИ «@элита»; Екатеринбург; 2013

Аннотация

Роман по форме и языку относится к русской реалистической литературе и несёт большой гуманистический заряд человеколюбия и сыновней преданности людям ушедшей эпохи, делавших жизнь, как они умели, – с ошибками, победами и провалами. Но побед было всё-таки больше. Одна из которых освободила мир от ужаса фашизма. Так что и «совки», как любят называть советских людей представители сегодняшних властных структур, молча делали своё дело и за страх, и за совесть.

Жанр романа – сага, русские семейные хроники типичных представителей своего народа, с их изъятиями и благородством, с верой во всё побеждающее «Авось», и безоглядностью к своей собственной судьбе.

Сага начинается с короткого философского раздумья о трагичности всего сущего в этом мире. Всё подвержено неумолимому движению времени: и трава и люди, суть одна и та же. Потом следует само движение по жизни сельского русского

парня рождённого в начале века и потому уже обречённого стать его жертвой. Но это не так. Или нет, совсем не так. Жизненные коллизии не сломали весёлый, незадачливый характер человека сумевшего преодолеть этот двадцатый век и придти к своему последнему концу очищенным от всего, что мешало смотреть прямо в глаза смерти. Он с нулевым образованием смог работать начальником отдела культуры в своём районе, военные коллизии происшедшие с ним на передовой линии, много курьёзных, абсурдных в своей сущности случаев выпало на его долю.

Одним словом жизнь героя предлагаемой саги переполнена неожиданностями. Автор с сыновней любовью и грустью рассказывает об обычной судьбе среднерусского человека прошлого века. Как сказано в одном стихотворении Владимира Соколова: «Я устал от двадцатого века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека. Я давно уже не человек».

Содержание

Вместо пролога	5
Часть первая	8
1	8
2	11
3	15
4	22
5	27
6	31
7	34
8	38
9	46
10	52
11	61
12	68
13	73
14	77
15	81
16	93
17	96
18	99
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Аркадий Макаров
На той стороне
Русская сага, или
Повествования, вызванные
светом непогашенной лампы

Дочери Тане

*Перевозчик, водогрёбщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
На ту сторону домой...*

старая песня

Вместо пролога

Ниоткуда, как мышинный шорох, вдруг возникла передо мной жизнь моего родителя, истинно русского человека, одна из ничем не примечательных пылинок в песочных часах, провалившаяся в чёрную бездну.

Возникла и тут же канула, как сорвавшаяся с ветки капля

тихого предвечернего дождя.

Мой отец не сделал ничего примечательного в жизни: не открыл предел числового ряда, не изменял хода истории. Был – и нет. Как говорится, – «И сказок о них не рассказут, и песен о них не споют». Так, – травинка среди просторного луга под размашистой, неотвратимой косой времени: – вжик-вжик-вжик! Только лёгкая испарина на потемневшей стали, только резкий, как молния, отблеск отточенного жала. А неутомимый косарь всё идёт и идёт, и нет ему устали. Он всегда на ногах. Он всегда в деле. Убориста его коса, не сжалится, не промахнётся...

Кружит, кружит сбитая с толку пчела, пьяная от нектара жизни, и не понять ей – в чём дело? Что за порывистый ветер опрокинул навзничь её цветок? Она только что целовала бархатистые губы адониса, ан, нет его! Лишь пастушья сумка трясёт свои пожитки. Один лишь миг, и нет пастушьей сумки. Кудрявый клеверок поднял свою безрассудную голову, глядишь, и нет медоноса. Аникой-воином заступил дорогу иван-чай, но повалился грудью на матушку-землю, и вот он уже лежит, раздавленный тяжёлой поступью неумолимого косаря. Так было от веку, и так будет.

В человеческой судьбе всегда рядом – грустное и весёлое, добро и зло, драматизм и шутейность. Это как орёл и решка в золотом червонце имя которому – жизнь.

В этой книге, документальной и художественной одновременно, через светлую печаль прошедшего времени, трагиче-

ского в своей сути, я с горькой усмешкой отваживаюсь показать двуединство жизни, применяя шутейную, а коегде и ёрническую формулу языка, чтобы рассказать о жизненных перипетиях родимого мне человека, близкого, в близком мне времени, иначе, как сказал Великий Классик: «Скушно жить на этом свете, господа».

Ещё: в некоторых эпизодах повести автор становится как будто соглядатаем действий своих героев, хотя в то время его и на свете-то не было!

Но это совсем не так, или вовсе не так — я был в жизни этих близких мне людей, как и они теперь находятся в моей жизни, хотя, увы, их уже нет в нашем мире...

Итак, вот он лежит на моей ладони золотой червонец, доставшийся мне в наследство от моих родителей, высвечивая в опускающихся сумерках осеннего ненастья.

Часть первая

1

– Зачем смеёшься?

– Я не смеюсь. Я плачу...

Из разговора

*Может быть, одному русскому суждено
почувствовать ближе значение жизни.*

Н.В. Гоголь. Из письма к А.М. Виельгорской

С недавних пор ко мне неожиданно привязалась противная старческая привычка – засыпать в кресле.

Привычка эта досаждала особенно тогда, когда усиленно пытаешься понять, что показывает телевизионная картинка? По всем каналам идёт такая невразумительная чехарда и откровенная пошлость, что выбирать не приходится. Массовая культура теперь рассчитана то ли на ватажных подростков, то ли на взрослых недоумков, коими, вероятно, нас и считают непотопляемые черти из электронной шкатулки с улыбающимися лицами, с хорошим русским произношением, но с трудно произносимыми фамилиями.

Нашему человеку, после привычной погони за хлебом на-

сущным, в самый раз угнездиться в кресле, расслабиться, включить говорливый ящик и, вытянув ноги, прислушаться, как они гудят после дневного марафона. А ящик бубнит своё, вдалбливая нам, что сегодняшняя молодёжь выбирает «Херши».

Ну, если хотите – «Пепси»! Хрен редьки не слаще.

Но я себя, увы, уже не могу причислить к молодёжи, да и «Пепси», на мой вкус, – просто сладенькая водица с привкусом валерьянового корня. Поэтому, после угробистого трудового дня, для меня куда полезнее хороший стопарь водки под розовый ломоть малосоляного сала в чесночном соусе. Выпил – и подобрел!

Вот теперь можно и к «ящику» повернуться:

– А ну-ка! Что там у нас в Гондурасе?

А в Гондурасе всё спокойно. И тебя, после двух-трёх кадров, уносят прокладки с крылышками куда-то далеко-далеко, где гложут все звуки, и остаются только умиротворение и покой.

Откроешь глаза, а в экране вместо картинки уже шелестит мыльная пена электрических разрядов. Резкий свет непогашенной люстры кидает с потолка пригоршню колючего золотого песка, норовя попасть тебе прямо в зрачки. Недовольно морщишься и идёшь в постель досыпать уже подтаявшую близким рассветом ночь.

Зимой кресло по-особенному уютное, мягкое, тёплое, словно гагачьим пухом выстланное. Только присядешь, по-

ложив ноги на журнальный столик, только голубым светом горящего спирта засветится экран, а ты уже – вот он! Опять на крылышках улетел!

Просыпаешься обозлённый – снова пропал вечер! Никакой интеллектуальной жизни! Одна растительная!

А побороть себя нет никакой возможности...

– Опять по ночам, туды-т твою мать, свет жжёшь! – будит меня грозный голос отца.

В голове проносится паническая мысль: что я, в который раз уснув за книгой, не потушил нашу семилинейную керосиновую лампу. А керосин дорог. Жизнь скудна и однообразна. Весна. Разлив скоро, а у меня резиновых сапог нет. Снова в подшитых валенках по мокрому снегу топать в школу... Э-эх! Когда был Ленин маленький с курчавой головой, носил он тоже валенки и летом, и зимой.

Вскакиваю. Открываю глаза. Господи! Машина времени унесла меня на много-много лет назад. Померещится такое! Отчий дом из руин вознёсся! Оглядываюсь. Никого нет. Один в городской квартире. Жена к родителям уехала. А свет, действительно, горит во всех комнатах, даже на кухне, куда я, отужинав с друзьями-выпивохами в шумной закусочной, вообще, сегодня не заходил.

Вот ведь сыновья память, какая! Столько лет прошло, а до сих пор перед отцовским верным словом робость одолевает. Давно уже и родителя в живых нет, а голос – вот он! В ушах стоит.

Обличьем отец мой был весьма колоритен: цыганская борода с редкой проседью на груди кучерявится, не по-старчески густые и чёрные с серебряной нитью волосы на зачёс, как ходили во времена строящегося социализма, во времена его молодости, партактивисты, костистый прямой нос с резким изгибом ноздрей и соколиный взгляд, желтоватый, с искрой, искусственного глаза, другой, живой глаз, был зелёного цвета, приветлив и весел, а тот, стеклянный, наоборот – острый, сверлящий, от которого всегда хотелось скрыться, да некуда. По случаю моего частого непослушания тяжёлая рука родителя мне была хорошо знакома.

Интересный пасьянс раскладывает судьба на каждого человека! Вот они – карты! А все – рубашкой вверх. Попробуй, угадай, что у тебя там сложилось? А карты иногда выпадают интересные...

Свою жизнь отец начинал в плотницкой артели: сначала учеником на подхвате, а потом и равноправным членом бригады.

Артель, ещё помня недавнюю старину, занималась отхожим промыслом, благо, начинался НЭП, и свободные рабочие руки тогда ещё легко можно было продать. Ходили в Москву, где после гражданской войны, почти что каждая улица была превращена в строительную площадку, а такие

спецы, как плотники, требовались повсеместно.

«Не спи, вставай, кудрявая! В цехах, звеня, страна встаёт со славою навстречу дня!»

Артель, в которой работал отец, была дружная, большую её часть связывали родственные отношения – кто-то кому-то кем-то доводился.

В этой же артели бригадиром был родной брат отца – Митька, который в ту пору находился в женатом положении – имел детей, но из семьи ещё не был выделен – собирал деньги на своё хозяйство.

Мой отец тогда бритвы не знал – пятнадцать лет от роду, поэтому всё заработанное им, само-собой, записывалось на Митьку.

Отец к водке ещё пристрастного вкуса не имел, а курево – табачок-самосад, был свой, деревенский, так что этот Митька с пребольшей охотой брал своего младшего брата с собой повсюду, где была работа. В поисках хороших денег артель уходила и подальше Москвы – на север, в Архангельск, где шабашили в тамошних лесах и даже на верфях с корабельной сосной, помогая промысловикам и учась у них строить шхуны и шхеры для сезонного забоя морского зверя. Так что не удивительно, когда мой отец к семнадцати годам работал топором и рубанком, как счетовод счётами.

Митька был доволен братом, и по возвращению из отъездов, пьянея, всегда хвалил его перед отцом, а, как протрезвеет, так молчок. Мол, что с него взять, молодой ещё, пока

только на подхвате хорош...

Странное дело, но с тех самых незабвенных юношеских лет к моему отцу деньги, ну, никак не хотели идти. Идти-то они шли, да не держались. Ладони что ль такие были, что деньги к ним не липли? Любой инструмент возьмёт – прикипит, а всё, что заработает, тут же сквозь пальцы процеживается, наверное, по причине ранней выучке ремеслу.

Приезжает однажды с больших заработков в свою деревню на тройке. Дуга расписная, бричка на рессорах, впереди – кучер на манер трубочиста в цилиндре сидит.

– Нн-о! Родимые! – со станции Платоновка галопом гнал. У родного крыльца высаживает молодца.

Родители – к окнам:

– Батюшки, никак Василий приехал?!

Соскочил с подножки – сапоги хромовые высокие, до самых колен, пиджак кожаный цвета спелой вишни, на голове фуражка в жёлтую клетку английского сукна, козырёк, как крыша у навеса, из нагрудного кармана серебряная цепочка от часов аксельбантом свисает. Пританцовывает у крыльца, ноги разминает. Хор-рош!

Мать навстречу руки простирает – сокол ясный прилетел!

– Маманя, рассчитайся за дорогу, а то у меня деньги крупные, разменять не успел – небрежно кивает головой сокол в сторону кучера.

И налегке, в руках ветерок посвистывает, ныряет в дом.

– Василий, что же ты с пустыми руками домой возвернул-

ся? У нас, сам знаешь, в селпо одни хомуты да дёготь. Ты б гостинчика, какого привёз... Селёдочки, может... День-ги-то, говоришь, крупные есть. Разменять надо б... А то, никак, опять реформа будет. Пропадут ведь...

Василий – по карманам:

– Ах, мать честная! Саквояж в бричке оставил! – и глаза в сторону отводит. Папиросу толстую достаёт. Закуривает. Отца угощает. А дед мой, говорят, человек жалостливый был. Мягкий. За кнут не взялся. Покуривает, посмеивается:

– Накрывай стол, старая! Видишь, какой голубь выгуливается. Хоть ныне женивай!

С артельным – Митькой, братом – они разошлись по нравственным причинам: тот скоро дело делает, тят-ляп – и готово! А мой отец любил работу делать с оттяжкой, справно, чтоб опосля перед хозяином не краснеть, как придётся снова свидеться. Время не гнал, но всё делал основательно. А кому, такой совестливый, на шабашке нужен?

Митька, бывало, хватает топор:

– Делай, как говорят! Зарублю!

Не сошлись характерами, хоть и брательники.

Видишь, как получается? Природа одна, а порода разная. Ударил отец мятой кепкой по колену, снова надвинул её на лоб и, цвиркнув сквозь зубы длинную струю Митьке под ноги, ушёл из артели.

Без работы человеку плохо. Особенно, когда тебе время жениховаться пришло – одёжку новую, да чтоб модная была, справить, перед девками колесом пройтись, конфетами угостить, орешками пощёлкать. А тут, в кармане, как на фишке домино – «пусто-пусто».

Село Вердеревщино, где в то время жил отец, всего в одном километре от Бондарей – районного центра. Перешёл речку, и вроде как в городе. А там соблазны всякие, магазины, в бывшем трактире, теперь ресторане, фокстроты танцуют, деньги прожигают – НЭП, новая экономическая полити-

ка!

Ходит по селу Васятка смурной, родители руками всплещивают – порчу на малого напустили! Отчитать надо бы порчу. От земли отбился, а к делу никак не прислонится. Всё сходится – порча!

В Вердеревщине все болезни были от порчи или сглаза. Это село издавна славилось своими ведунами, начётчиками. Там каждый старик, то ли колдун, то ля оборотень, а как бабка – то ведьма.

Вот такое знаменитое сельцо! Попы, и те без крестного знамения шагу не ступали, на четыре стороны крестились.

Наши бондарские бабы старались обходить село стороной, чтобы, не приведи Господи, на чёрный глаз не попасть!

Помню, что отец над этими байками посмеивался, над бабами подтрунивал, волкодлаками страшал.

Наша семья жала в Бондарях, куда отец, женившись, переселился и стал совсем своим, бондарским.

Не знаю, как насчёт баек про колдунов, но в этих рассказах всё-таки что-то было. Не на пустом же месте слух рождается.

Позвал меня отец как-то в Вердеревщино к старинному дружку своему, помнится, его Зуёк звали. Кличка, что ли, у него такая была? Не знаю. А лет мне было в то время, наверное, семь, потому что я в тот год должен был, кажется, в школу идти.

Першли по мосточку из жердей быстринку на Большом

Ломовисе, поднялись сразу на гору, откуда село начинается. И вот мы уже на территории, где из каждого окна или колдун, или ведьма смотрит. Я жмусь к отцу, боязно всё-таки! Вдруг вдоль дороги колесо тележное покатится или оглобля, словно ванька-встанька, сама ни с того ни с сего версту мерить начнёт. Оглядываюсь. За нами козёл увязался. Бородой трясёт, как будто что-то сказать хочет. Я отцом загородился, от испуга в штанах мокро стало. Отец остановился, ухватил козла за рога, длинные и изогнутые, как два ржавых серпа, достал из кармана шнурок от кисета, витой, шёлковый, стянул концы рогов и отпустил оборотня. Козёл, прыгнув на все четыре ноги, заорал истошно, затряс головой и сразу же кинулся под берег, к старой мельнице, заросшей густым ивняком, где, я знал, жила нечистая сила.

Отец шлёпнул меня легонько по затылку, и мы пошли дальше, к его другу Зуйку. А Зуёк жил на отшибе, за кладбищем, откуда начиналось поле подсолнечника, сплошь жёлтого, как майские одуванчики.

Наверное, отец с Зуйком были друзьями закадычными. Тот сразу – порукам, и в погребец! Достал: махотку с самогоном, лучку подёргал, и в подсолнухи – от жены посторониться.

Сидят, выпивают, а я махонький, глазками пошныриваю, чем бы руки занять? Зуёк посмотрел да меня, дотянулся до скособоченной шляпки подсолнуха, одним махом скрутил её:

– На-ка, поскребись!

Я скрёб, скрёб пальцами – нет, никак семечку не вытащу. Отец разломил круг пополам, как большую пышку, и одну половинку протянул мне.

Внутри круга мякоть белая, как сдобная лепёшка, слюнки побежали. Я откусил мягкую ватную массу, она оказалась вязкой и горьковатой на вкус. Отец ладонью наточил мне в фуражку фиолетовых зёрнышек, а лепёшку закинул в подсолнухи. Семечки были молочные, сытные на вкус, и жевались вместе с мягкой оболочкой, пачкая руки свежими чернилами.

Отец со своим другом, забыв о моём существовании, вспоминали молодость, хлопали друг-друга по плечам, смеялись, то и дело вертя самокрутки.

Мне стало скучно, и я потянул отца за рукав:

– Всё маме расскажу. Пошли домой!

Отцу, наверное, ох как не хотелось отрываться от столь увлекательного занятия. Беседа только разгоралась, да и в махотке было ещё порядочно.

– Не пужай! – густо задымил отец. – Мы пужаные. Правда, Зуёк? – кивнул он другу.

В отличие от коренных бондарцев, жителей райцентра, отец – природный и неисправимый представитель русской деревни, говорил среди своих на более близком и привычном для него диалекте, что вызывало всегда едкие насмешки у моей матери. Мать была из крепкой рабочей семьи

потомственных текстильщиков местной суконной фабрики, и окончила курсы медицинских работников, поэтому ей позволительно было иногда над отцом подсмеиваться.

И теперь, задетый за живое, он всё никак не мог успокоиться:

– Ишь, стервец, ябедничать вздумал! Маленький, а как гвоздь в кармане торчит. Породил себе на шею. Покажи ему, Зуёк, как ты в зайца можешь оборачиваться.

– Прямо щас что ль?

– Нет, давай сначала выпьем.

Они выпили. Зуёк похрустел лучком, вытер о штаны руки. Закурил.

– Показать? А ты не описaeшьcя?

Я, заинтересованный, замотал головой:

– Покажи, дядя Зуёк! Покажи!

– Я тебе не Зуёк, хрен моржовый! А дядя Захар – и защемил двумя пальцами мне нос.

Я загундосил:

– Бб-ольно!

– Больно? Ну, смотри, смотри, гвоздь сапожный!

Зуёк снял рубаху, остался в одних штанах. Что-то в горле у него забулькало, глаза стали круглыми, с вывернутыми белками. Он, кружась, затоптался на одном месте, заприседал, хватая руками траву.

У меня внутри заглодело: в том, что он обернётся в зайца, у меня не было никаких сомнений, в сказках всегда так

происходит. А всё же страшно стало...

– Нет, не могу, когда за мной подглядывают.

– Ну, уважь парня, покажи. Вишь он, подлец, как глаза наострил! Зуёк потоптался на месте в нерешительности.

– Ладно! Попробую. Ну, если получится, пусть твой огрызок, когда вырастет, мне бутылку белого поставит.

Он подошёл ко мне, протянул руку.

– Так, помни, засранец, дяде Захару бутылку должен. Со-гласен?

– Он тебе две поставит. Сразу. У него рука лёгкая – подначил отец. – Ты зайди в подсолнухи, там и обкрутишься.

– Уговорил! – Зуёк подмигнул отцу и скрылся в зарослях.

Через несколько минут, метрах в десяти, из подсолнухов кубарем выкатился большой шерстяной клубок, отпрыгнул от земли, и, прямо передо мной, разжавшись, как пружина, превратился в зайца. Передними лапками он барабанил себе по животу, в его кривой усмешке, под раздвоенной губой, торчала сигарка, или мне это тогда показалось с испугу.

Не знаю почему, но всё это меня так напугало, что на голове, под волосами, вроде, как муравьи завозились. Я дико заорал, рванувшись к отцу на колени. Последнее, что я видел это гигантский прыжок обратно в заросли удивительного зайца, как будто кто плеснул на него кипятком.

Через некоторое время к нам подошёл сам Зуёк, в чём-то оправдываясь перед отцом. Праздник в подсолнухах был испорчен.

Тогда отец убедил меня ничего про случившееся не рассказывать матери.

– Я тебе самолёт куплю. Летать будешь.

Ну, как я мог устоять перед этим обещанием? Самолёт – это не оборотень. Он по небу без колёс ездит...

Да, ничего нет крепче детской памяти. Отпечаталось, как на компьютерном жёстком диске. Однова – и насовсем.

Отец мой, по рассказам родни, был неугомонным и строптивым. Уж, если что захотел – добудет обязательно. Тогда в деревне одевались как, – штаны домотканые да рубаха из посконки. Вот и взбунтовался подросток против такой sprawy. «Давай, – кричит, – рубашку с отложным воротником из сатина, да брюки бостоновые!» Уговаривали всей деревней. А, как раз, дело было на Троицу. Престольный праздник. Жарко. Народ в бондарский храм к обедне идёт, а тут парень – Васятка Макаров сидит на пыльной дороге в овчинной шубе на голом теле, ни в какую снимать не хочет! Родным стыдно. Говорят: «Василий, не позорь себя. Вставай! Будет тебе рубаха шёлковая с опояской и брюки шерстяные! «.

Так и пришлось моему деду раскошеливаться на модника сопатого.

Он от самого рождения таким был. В люльке криком заходился до того, что керосиновый фитиль в избе потухал.

Пахать, сеять надо, а с ним никто справиться не может, взрослые в поле, и его берут с собой. А какая с ребёнком работа?

Пошли советоваться с бабкой Секлетиной, что от грыжи мальчиков заговаривает. Она его осмотрела, в паху пощупала, искупала в корыте и велела маковым отваром отпаивать.

Его под копну положат, дадут ложки две маковой водич-

ки, он и спит за милую душу целый день, пока с работой не управятся. Молочко маковое ему по вкусу пришлось, хорошо пил.

Поили так лет до пяти, потом отняли. Привели опять к бабке Секлетинье, та достала какой-то отравы, дала, – его целый день рвало, а потом ничего, отошёл от макового сока. Правда, рано курить приистрастился, табак на огороде рос. Вольный. Кури, хоть до упаду. Вот они со своим ровесником тайком и накуривались втихомолку.

Но это было в детстве, а теперь Васятку на семейном совете решили снова свести к Секлетинье, которая к тому времени стала глуха, но это нисколько не уменьшало её приворотную колдовскую силу. Портиться начал парень. Намедни мешок пшеницы на самогон обменял. Разве это дело? Пришёл не трезвый, выпимши, чёрными словами на родного брата Митрия ругался, за грудки брал. Нехорошо. А тут ещё старый кочет по-куриному кудахтать начал. Мечется по двору, скотину пугает. Пришлось его на лапшу пускать. Хороший был куриный угодник, а, видать, беду учуял. К недобру всегда так: или курица петухом заголосит, или петух по-куриному заквахчет. А бывает ещё – чугунок в печи плясать зачнёт, а нечистый на губах подыгрывать, да сажей кидаться. Жуть! В таких делах Секлетьня всегда поможет – водички даст, зерна горстку проросшего, а то в половицу смолки церковной вотрёт, ладану. Тогда всё на свои места и встанет. Грех-то, он, как ячмень на глазу, жить можно, а не сморгнёшь.

Выручай, Секлетинья!

А Секлетинья притчами да прибаутками встретила, сразу не поймёшь – то ли за здоровье, то ли за упокой старается.

Сказали: «Вот он, малый, дурью мается, из рук, как уж выскальзывает, а в руки никак не идёт».

Бабка велела Васятке за водой сходить, да не в этот колодец, что напротив, а в тот, что за логом, на том конце села стоит, где журавль об одной ноге на жерди ведро качает, воду от чёрного глаза оберегает. Иной опустит ведро до конца, а ведро само из колодца пустое взлетает, а другой потянет за жердину, два раза перехватится, и – вот оно, ведро всклень наверх тяжело идёт, вода на солнце играет, зайчики в глаза пускает, зрачок чистит.

Принёс Васятка воды, поставил, как велела Секлетинья, на порог. Стоит, тяжело дышит, ведро, конечно, не дежа, а руку тянет, почитай, версту отмахал.

Секлетинья три раза против восхода солнца ведро обошла, щепотью перекрестила, пошептала, пошептала мятыми губами, да и зачерпнула стакан, и велела рабу Божьему Василию на колени перед образами встать.

Стоит парень, склонял бедовую голову, как велели. Разве против ведуньи устоишь?

Поставила Секлетинья ему на голову стакан, а стакан, удивительное дело, стоит, как вкопанный.

Отец рассказывал, что он, как только старая ведьма поставила ему стакан на макушку, одеревенел весь, рук-ног не

чувет.

Бабка Секлетинья, обходя, опять против солнца, своего подопечного чудно говорить стала. А к чему – не поймёшь: «Встал баран утром ранним. Дошёл баран по делам бараньим. Идёт волк навстречу. Синь-порох заряжен картечью. Картечь говённая, а голова забубённая...»

– На что наговор делать? – спрашивает бабка у Васятки.

– Делай, на что получится!

– Э, милай! На что получится – не буду, а на путь-дороженьку наставлю, наговорю. Чтобы пил, да не спотыкался.

Зажгла бабка свечу из чёрного воска, который в горах на камнях собирают. Поставила на край стакана. Свеча горит, а воск в стакан капает, трещит, как жир на сковороде. Заговаривать стала: «Еду из поля в поле, в зелены луга и далёкие места, по утренним и вечерним зорям. Умываюсь ледяной росой, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звёздами. Еду я во чистом поле. А во чистом поле Одолень-травы. Одолень-травы! Не я тебя поливала, не я тебя породила: породила тебя мать сыра земля, поливали тебя девки просто-волосые, бабы самокрутки. Иду я с тобой Одолень-травы, к Окияну-морю, к реке Иордану, а в Окияне-море, в реке Иордану лежит бел-горюч камень Алаторь. Как он крепко лежит передо мною, так бы у злых людей язык не поворотился, рука не поднялась, а лежать бы им крепко, как лежит бел-горюч камень Алаторь. Язык мой ключ. А слово – замок. Всё!»

Сняла доморощенная ведьма стакан с головы парня, затушила свечу:

– Матушки! Погляди, что вышло-то! Точно – наш аптекарь, Еська получился. Иди теперь к нему, и что он скажет, то и делай. А ты, Фёкла, – обратилась она к матери заговорённого, – маслица мне клубочек принеси, да молочка кислого. У тебя корова, уж, больно хороша. Тьфу, тьфу, тьфу! Кабы не сглазить.

– Вот старая карга! – вспоминал отец. – Заговор не с того конца зачала. Потому всё так и случилось.

Отец, действительно, пошёл к аптекарю. Открыл дверь. А, что говорить – не знает.

– Ты Макарова Фёдора Мартинача сын?

– Да, – отвечает гость.

– Вот ты, как раз, мне и нужен.

– Выпить желаешь?

– Не пью – соврал отец.

– Это хорошо, что не пьёшь. Пить, как и девок любить, надо в меру. Ну, ты пока молодой ещё хлопец. Потом всё наवरстаешь. Иди ко мне в помощники. Мне добрый человек нужен. Ну, такой, как ты! В хедер ходил?

– В какой хедер?

– Ну, в школу, по-вашему.

– Два класса имею! – отвечает гордо отец.

– Н-да... – чешет бороду Еська.

– А что делать? Я в лекарствах ни бум-бум! Век не лечился.

– С лекарствами я и сам управлюсь. Ты видел, как спирт гонят?

– Самогон что ль?

– Ну, пусть самогон, как ты говоришь. Он, хоть, и зелёным змеем называется, а продукт ценный.

– А чего на него смотреть? Его пить надо. Я и сам у батьки

из свёклы гнал. Крепкий. Горит огнём. Спичку поднесёшь – сначала, вроде, и пламени нет, а руку подставишь, жжётся.

– Ну, вот и хорошо! Но мне не самогон нужен, а чистый спирт. Я тебя научу, как это делается.

Отец потом рассказывал, что в ту пору Новая экономическая политика была в самом разгаре. НЭП.

Торговали все и всем, чем придётся. Вот и аптекам разрешалось принимать от населения самогон, а уж потом, в перегонном кубе, в лабораторных условиях его доводили до кондиции.

Спирт во все времена товар не залежный, ходовой товар, а тогда, при полной разрухе, на него был особый интерес, и ценился, и ценился даже самопальный.

Аптекарь Иосиф Резник в российской глубинке чувствовал себя превосходно. Его соплеменники делали революцию и теперь сидели у власти в красном державном Кремле. Наконец-то самое время развернуться! Порошками от головы и микстурой от живота здесь не разживёшься, деревенский народ болеет редко, а профессия провизора требовала постоянной выдумки. Используя все хитрости искусного ремесла, Еська делал свои чудо-настойки и чудо-порошки на особых травах и корешках. Дорогие, хорошие снадобья! Например, родится ребёнок крикливым, орёт – мочи нет! А здесь, как на грех, сенокос или того хлеще – хлебушко-кормилец поспел, снопы вязать надо.

Прут к аптекарю:

– Выручай, Еська! Васятка безобразничает, житья не даёт паразит. Руки все опутал! Дай ему того молочка, которым Ерёмку-припадочного отпаивали. Вона, теперь какой тихий ходит! Мать не нарадуется. Дай, кормилец!

– Да молочко-то это птичье, милочка! Ох, как трудно его достать!

– Достань, батюшка! Вот я и денежку принесла, ништ– мы безобразники какие. Порядка не знаем? Дай, родимый!

Накаплет Еська молочка птичьего пузырёчек, скажет, вздыхая:

– Молочко, Глафира, эконошь. По пять капелек давай, а то здоровье повредишь Ванюшке. Как? Не Ванюшка? А-а, Васятка. Ну, какая разница! Их у тебя вон сколько! Как лекарство кончится – заглядывай, может, ещё этих капель и достану по какому-нибудь случаю. Иди! Иди, Глафира. Да не рассказывай никому. Молочка на всех не хватит. Это я уж тебя уважил...

Уйдёт Глафира довольная. Васятку там, или Ванюшку как подменят. Пососёт, пососёт мать, лизнёт капельку аптекарскую с соломки ржаной и спит, почитай, целый день.

Или вот: запьёт мужичок, артачиться зачнёт, дебоширить, за женой-угодницей с вилами бегать, а она – шнырь к Еське! Причитает:

– Отец родной, помощи! Совсем одурел хозяин, вторую неделю пьёт. Со света сживает!

Еська бабе – пузырёк в руки! По капельке на стакан вина.

Через три дня сам бросит. Ослабнет, только и всего! Вожжу не поднимет. Отлежится – снова сам с усам, а к вину хотеть не будет.

Напоит страдальца настоем дурным, хозяин и остынет. Как рвота с кровью пойдёт, так всё – отпился. В рот не возьмёт. А чего возьмёт, так снова в блевотине давиться будет. Каково?

А некоторые мужики к Еське сами ходят, уж больно хороший табачок у него, заморский. Покуришь, и такое блаженство наступает, вроде, как по-молодости с бабой лежишь. Но дорогой табачок тот – щепоть одну искуришь, а на другую денег не хватает.

А бабам да старухам растирку даёт, изготовленную по своей чудной каббалической книге: разотрёт зёрнышки маковые белены, добавит слизи с гриба мухомора и на собачьем жиру прокипятит. Натрёт старуха с устатку и от тяжести в ногах грудь такой растиркой, и покажется ей, что она на воздушных летает с облаками вровень. Такая лёгкая становится, легче пера!

Может быть, в родном селе отца ведьмаков и оборотней так много было, что Еська Резник им помогал. Не знаю. Но слух об этом и до сих пор жив. Спросите любого бондарца, он с вами поделится, ничего не скроет. Посмеётся ещё над этим забавным вердеревщинским народом, что живут рядом, под боком, а такие тёмные. «М-да, – скажут, – суеверие, а что-то там, действительно, не так».

Да зачем опрашивать кого-то? Вот он – я, здесь! И сам могу засвидетельствовать, что странные образы возникают тогда, когда тебе угораздило по какому-нибудь случаю пройтись по улицам этого села глубокой ночью, особенно в новолуние, когда тонкий, узкогубый месяц пробует печальную улыбку в чёрном провале ночи...

Эх, молодость, молодость! Крепкогрудая русалочка целовала меня в мальчишеские губы под цветущей вишней у мельничной запруды, куда когда-то, нырнул с перевязанными рогами оборотень в образе козла. Там нагишом, пластаясь в тёмном омуте, камышиным гребнем чесала она свои зелёные шёлковые власы на зависть подругам, притаившимся в чёрной омутовой глубине. Её тело пятнадцатилетней девочки, прохладное и скользкое, по-налимьи гибкое, билось в моих руках, пока не ослабло и сделалось безвольным.

Да, молодость...

Помнится, учился я в девятом классе, когда уже многое разрешалось, а мы со сверстниками, не встречая сопротивления местных парней, часто бегали к вердеревщинским невестам, таким же недорослям, как и мы сами, учиться любовным поцелуям. Но не более того.

Тогда ещё на маленькой нашей речке Большой Ломовис, в зарослях вишни и черёмухи стояла мельница исправно дей-

ствующая, наверное, с пушкинских времён, огромное колесо которой на склоне лет одышливо крутил живущий под берегом водяной.

Всё так и было: месяц, чёрный провал омута с непреодолимой тягой уйти в его тихую глубину и девочка, ровесница, трепещущая, как только что пойманная плотвичка, в твоих руках, и ты сам трепещешь и вибрируешь от неизвестного захлёбывающего чувства...

Ах, молодость!

И вот радостный, как только что спущенная пружина, возвращаясь домой, в Бондари, окольными путями, дворами да огородами, перед самым рассветом, когда в ночном небе появляются слабые проталинки, я вдруг увидел на фоне такой промоины человеческий силуэт, сидящий на трубе заброшенного барского дома. Кто это был, мужик или баба, трудно сказать, но, кажется, по развороту плеч и тёмного лица, это был мужик. У меня под сбитой набекрень фуражкой беспорядочно завозились волосы, и я, тут же забыв свои счастливые мгновения, ринулся из села, сшибая по дороге пеньки и кочки, да так, что сердце выскакивало из запалённой глотки.

Конечно, этот случай не имеет никакого отношения к моему повествованию, и он мне вспомнился в связи с непреодолимыми суевериями моих земляков, из которых не вытравишь ничем странные образы детских фантазий.

Поэтому вернусь к Иосифу Резнику, еврею, обрусевшему на чернозёмных просторах среди дремучего и невежествен-

ного народа.

Таким образом, мой батяня оказался в доверенных помощниках у хитроумного провизора.

Гнать спирт – дело подходящее. Сиди себе и поглядывай, как слезится стеклянная трубочка, истекающая на конце, тоненькой струйкой, не толще нитки, чистым товарным продуктом.

Перегонный куб у Еськи был фабричного изготовления, состоял из двух вложенных один в другой стеклянных пузырей. Пподогреваешь на большой керосиновой горелке нижний пузырь с водой, в другом пузыре вскипает первичный самогон, пары которого, проходя через холодильное устройство, выпадают росой на ёмкости с древесным углём, стекая затем в двухведёрную, тоже стеклянную бутылку. Никакого таинства превращения вонючего самогона в чистый спирт! Всё просто, а удивляет.

Задача нового помощника провизора состояла в том, чтобы в широких брезентовых лентах фитилей равномерно выгорал керосин, и в охладителе постоянно менялась вода. Правда, воды уходило неимоверно много, но для этого у старого еврея во дворе был вырыт колодезь, так что бегать далеко не приходилось, вода – вот она, под боком.

За день выгонялось по две, а то и по три бутылки. Знай, следи, меняй воду и не мешкай.

Оплата за работу была небольшая, да постоянная. А какая там работа? Забава одна, выгнал на сегодняшний день две бутылки, вечером – нате вам деньги! Ну, а три бутылки, то и премиальные.

Главное в этом нехитром деле – внимание. Смотри – не зевай, да и языком по деревне особенно не шлёпай. Лишние разговоры, к чему они?

Спирт гнался на задворках, в сарае, который служил одновременно и банькой перед субботой, в пятничный день. Место это было окружено такими зарослями сирени, что подступиться к нему не было мочи, разве что через узкий лаз перед дверью.

Дело пошло споро.

В работе отец был всегда понятлив и смекалист. Одну бочку с водой для расхода в охладителе поднял на срубленный тут же помост выше теплообменника; свернул кольцом, чтобы лежал спокойно, на дне этой бочки шланг, а другой конец опустил в охладитель.

Отработанная нагретая вода из теплообменника тоненькой струйкой стекала в подставленное тут же ведро. Надо было только сначала подсосать воздух из шланга, и вода сама пойдёт в охладитель.

Пока ведро наполнялось, вода уже в нём остывала, отец её снова выливал в верхнюю бочку и процесс продолжался.

Еська доволен, его помощник тоже.

Каждый вечер у нового лаборанта в кармане деньги шур-

шат, а у провизора фляги со спиртом наполняются.

Еська Резник только успевает по селу вонючий полуфабрикат скупать. «И куда ему столько? Не пьёт ведь», – завистливо сокрушались мужики.

– Хорошо работаешь, Василий! – у Еськи глаза слезятся от умиления. – Хочешь, я тебя табачком сарацинским премирую? Ты его с махорочкой смешай, да покуривай. Понравится – я тебе его в счёт работы давать буду. Табак дорогой, душистый, голову прочищает. Ну, как, договорились? А то все деньги у меня налоги съели. Это разорение, тебе признаюсь. Грабиловка! На рубль товару нацедишь, а два государству отдай. Но я от этого молчу. Сказать ничего нельзя, сразу под руки поведут. Парень ты понятливый, выручай старого еврея.

Сарацинский табачок был действительно хорош. Так хорош, что и вина не попросишь. Покуришь, вроде, как поллитру выпил: девки всякие перед глазами начинают хороветись, непристойности выделявать, павлины с голубыми перьями по двору, как куры шастают... Чудно! Во всём теле блажь такая, всех любить хочется. Даже Еська, и тот, вроде, как за родного отца проходит.

Последнюю рубаху ему бы отдал – на, Еська, продашь как-нибудь! Вот какой табачок! Только цветом не жёлтый, а зелёный, и конопляным маслицем отдаёт, но с махоркой в закрутке чада не слышно. Перед сном покуришь, и спишь потом, как убитый. Даже домой идти не хочется, так в сарае и

заночуешь...

Закурлыкала вода в перегонном кубе, моросью покрылся охладительный пузырь, тоненькая светлая ниточка, как с веретена соскользнула в узкогорлую высокую бутыль.

Керосиновый фитиль горит белым светом ровно, пламя не коптит, в баньке тепло и уютно, хотя непогодь. Дождь, путаясь в сирени, стучит кулаками в маленькое оконце, всхлипывает, жалуется на свою долю – дорога в селе раскисла, тьма беспросветная, чёрт глаза выколет, если вот так шляться по улице, уже засентябрило, там и до первых морозов недалеко – август ломает крылья на излёте. Брр! Зябко!

Спиртогону делать нечего, сиди себе да поглядывай, как булькает вода в стеклянном пузыре, как медленно наполняется узкогорлая бутыль, сглатывая шёлковую переливчатую бесконечную струйку, да чтоб фитили не коптили.

В баньке зябкие тени по углам жмутся. Заколеблется пламя от лёгкого сквознячка, тени оживут, засуетятся, забегают по полкам, тогда немножко боязно становится. Рука тянется махорочки закурить.

Вспомнил про сарацинский табачок.

Сделал из газеты закрутку. Размял сухую травку. Самосадика добавил. Подобрал закруткой, как ковшиком, с ладони пахучую крупку, да видно сарацинской травки многовато добавил. Затянулся раз-другой, глядит, а бутыль на глазах до

потолка выросла. Горлышка рукой не достать – чудно!

Огляделся кругом, а возле каменки, где на полке шайки стоят, да веники берёзовые рогатятся, баба сидит голая, волосы длинные рыжие, как сухой камыш, до самого пупа стелятся. Сидит, молчит, только костяной пятернёй, как гребнем, эти волосы расчёсывает.

Спиртогону будто кто за шиворот ледышку положил – банница!

Слышал от мужиков, что по баням в такие неурочные часы банницы париться любят. Ну и мужикам являются. В иную шайкой швырнёшь, она, как кочка, прыгнет в сторону и в печное поддувало нырнёт, а иная ухитрится мужика соблазнить, все женские присухи в деле показать. Да так потешит такого неудачника, что у него мужская сила, как в землю уйдёт, ни с одной бабой жить не сможет, так бобылём на целый век и останется. А если кто уже женат был, то от жены такое отвращение получит, что сам себе по самые микитки обречение сделает. Так-то...

Спиртогон дотянулся до другой шайки, которая у него под ногами была, и пукнул её в угол, а банница сиганула с полка и за бутыль спряталась, и щерится оттуда, вроде как в догонялки решила поиграть.

Спиртогон руками шарит вокруг себя – нет ничего! А в каменке кочерга лежала. Пока он за кочергу взялся, смотрит, а банницы уже след простыл. Только по углам паучьи тени заматались.

Он – туда!

А бутыль на дороге стоит, пузатая, огромная, что твоя бочка.

Он, вроде, хотел бутыль обойти, а бутыль снова перед ним – ни пройти, ни проехать. Ну, и грохнул её в запале кочергой.

А банница – вот она, в углу смеётся, глазами на дверь показывает, мол, беги, хлопец, отсюда, пока цел. Оглянулся, а огонь голубой змейкой по земле вихляется, да как вжикнет до самого потолка. Волосы опалило, и по одежке огоньки, как бабочки, затрепыхали. Он – в дверь! И давай по луже кататься, бабочек этих с себя смахивать. А в окно уже пламя бьётся, всё выскочить норовит.

Спиртогон бегом к Еське Резнику, кричит, что банница баню подожгла.

Еська выскочил в одних кальсонах, за голову схватился, а пожар баньку уже на дыбы поднял. Огонь до самого неба стоит, тушить бесполезно. Люди набежали. Языками цокают. Матерятся. А к огню и близко не подходят. Только разные случаи вспоминают. Что ж тут удивительного – банька сгорела! Да они, почитай, каждый год горят. Не изба всё-таки. Не убивайся, Еська! Мы тебе новую баньку срубим, а это сарай какой-то. Четверть спирта выставишь – и всего делов! Не гунди!

Еське не причитать бы, как по покойнице, бегая вокруг, сразу же сжухлой от обильного огня, сирени, а схватить бы Васятку за волосы, да расквасить ему физиономию, чтоб

родная мать, на узнавши, в дом не пустила, чтоб не баловался когда не надо сарацинским табачком, а смотрел бы в оба, коль дело поручили.

Но Иосиф Резник, аптекарь, не стал трогать своего молодого помощника, а наутро, почистив щёткой чёрную фетровую шляпу и хорошей шерсти жилет, напустив на лицо смиренное и постное выражение, отправился к его родителям.

– Пожалуйста, вам добрый день! – начал прямо с порога Еська. – У меня, простите, на вас одни неприятности. Василий хороший парень, ничего не скажу. Ему бы на портного учиться, он бы хорошо стежки порол, пока мастер шьёт. А у нас, цеховиков, тонкое производство. Шить да пороть не умеем. Дело внимания требует. Я, извиняюсь, убыток от вашего сына понёс. За баньку, которую он поджёг, я ничего не имею говорить. Сгорела банька. Всё в дым ушло. А там тонкие инструменты были, имущество аптекарское. Дорогое. Убыток надо возместить... – Еська горестно вздохнул и задумчиво посмотрел в окно на каурого стригунка, пасшегося прямо возле дома.

Стригунки высоко вскидывал задние ноги, пытаясь отвяжаться от глупого вислоухого щенка, пробующего голос. Передние ноги жеребчика были стянуты сыромятным ремнём.

– Добрый рысачок может получиться. Ой, какой добрый! Родители спиртогона в отчаянье:

– Бяда! Во, какая бяда! Оженить надоть Ваську!

Еська качает головой. Смотрит сочувственно:

– Женить, конечно, можно. Но только и на женитьбу деньги нужны, а тут за аппаратуру и приборы медицинские платить надо...

– Родимый! Какие деньги? Откуда? Вот уберёмся с хлебушком, тогда, может, зерном за Васяткин позор расплатимся.

– Да-а... – гнул в свою сторону Иосиф Резник. – Какие в наше время деньги? Бумажки одни. Стригунка бы я, к примеру, взял за Васильево озорство. Я на парня зла не держу. Пока в Чека на него писать не буду. Портной бы из него хороший вышел. Шил бы да порол, и вреда людям никакого.

– Есиф, пожалей! Крест последний снимаешь. Хлебом отдадим, сколько скажешь. А стригунка никак нельзя. Одна надежда на него. Кобыла на днях на борону напоролась. Пришлось маханщику Юсуфу татарскому за бесценок отдать. Одна беда не приходит.

Есиф, пожалей!

– Не знаю, не знаю, как вам помочь. Завтра, видать, в Чека пойду, посоветуюсь. Глубоко извините. До свидания!

Услышав про Чека, родители неудачного спиртогона истово закрестились: «Не приведи, Господи! Те всё заберут, не сжальтся. Вон у Коробовых дом оттяпали и всю скотину под нож пустили, говорят, какие-то холкозы строить по всему миру будут. Всех овец под одну гребёнку стричь. Не приведи, Господи! Страсти, какие! Даже речку переходить, и то всякому по-разному: одному по колено, а другому, по этому

самому, будет. А теперича – на всех одеяло одно. А, может, мне полушубком удобней накрываться, тогда что?

– Не дрейфь, Васятка! – утешал его Зуёк. – За Еськой самим в Чека надзор ведут. Я-то знаю. Записывайся к нам в младопартийцы, ну, в комсомол по-теперешнему. Мы этого скрытого пособника мирового капитала скоро на чистую воду выведем. Вот-те крест! – Зуёк, забыв свою антирелигиозную установку, машинально перекрестился, – Тебя эксплуатировал. Пишишь!

Васятка чуть было не записался в эту кипящую несуразными идеями бучу младокоммунистов, пока не узнал, что на престольный праздник бондарского прихода комсомольцы будут валять с церковного купола, венчающий его уже более ста лет, морёного дуба крест.

– А чего он над Бондарями куриной лапкой в небо пялится? – говорил Зуёк. – Может, мы ещё и колокольню взорвём. Наша ячейка заявку в область сделала, чтобы взрывчатку прислали. Взлетит, никуда не денется! Ей-Богу! – глаза парня, недавно призванного в строй младокоммунистов, весело посверкивали.

Мой отец, как православный человек, хоть и дебошир, позволить себе этого никак не мог. Да и на Еську у него обиды не было. Сам баньку спалил. За голой ведьминой задницей гонялся.

Родителям неудавшегося спиртогона сводить со двора стригунка не пришлось.

Как раз перед самым Яблочным Спасом Иосифа Резника, несмотря ни на что, всё же повязали.

Хорошо, что лабораторию печатывать не пришлось. Ведь подхватили его за спекуляцию и за безлицензионное, нелегальное производство спирта и спиртосодержащих жидкостей, за опиум для народа, хотя ни в каких религиозных предрассудках он замечен не был, да и вера у него была какая-то пустяшная – в субботу гвоздя не вобьёт, а воскресенье, когда все порядочные люди отдыхают, будет хоть цепом зерно молотить.

Сказывал Зуёк, что Еську Резника в тамбовском ОГПУ в расход пустили. А там – кто его знает? Может, на Соловках под бревно попал. Одним словом, потерялся человек.

К тому времени из Наркомата пришла бумага – сворачивать НЭП и бегом записываться в коммуны, как предвестники будущей счастливой жизни.

– Как тебе сказать? – объяснил Зуёк, всё больше воодушевляясь перед непонятливым другом. – Коммуна – это как окно в горницу, где свадьба идёт. Сразу всё видно становится, как при коммунизме люди жить будут. Пить, есть сообщать, отдыхать... Кто на гармошке играет, кто пляшет.

О невзорванном бондарском храме он теперь помалкивал. Крест пробовали валить, но уж больно высота большая, смельчаков не нашлось. Погрозили кулаком небу и разошлись.

Но Зуёк не был бы настоящим другом, если бы не открыл

Васятке ещё одну возможность приобщиться к новой жизни «Слухай, – говорил он товарищу, – из области пришла разнарядка – организовать в районе кинопередвижку, потому что кино – это самое главное искусство. Поедем с тобой учиться на киномехаников в Воронеж. Там такая школа есть. Все девчата наши будут!

Вторая перспектива Васятке понравилась гораздо больше, и он, махнув рукой на возражения родителей: «не тешить бёса», пошёл записываться а школу киномехаников.

От желающих приобщиться к новому почину не было отбоя, но моего отца поставили в список, как непримиримого борца за народное дело. Поджёг баньки ярого захребетника Иосифа Резника не остался незамеченным среди боевых младопартийцев.

Так бывший плотник и спиртогон становился на путь проводника партийного искусства в массы, хотя образование его было ниже низшего – неполные два класса сельской школы. Читал с трудом, но расписывался легко и умело.

Воронеж... Ах, Воронеж! Провинциальная столица провинциального края. Чернозёмное сердце России. Когда-то, давным-давно, столько времени назад что теперь и не упомянуть, я пробовал учиться в одном из его вузов, но эта попытка, к сожалению, так и осталась не перевёрнутой страницей в моей жизни.

Помнятся – только тогда ещё по-деревенски тихие, улицы его окраин, цветущие акации так же пахучи, как русокудрые причёски городских подруг, прохладные парки, где обязательно встретишь потемневший от времени памятник с известным по ещё школьным учебникам именем и удивишься его соседству, робко прикоснёшься к его подножью и отдёргнешь руку, боязливо озираясь по сторонам – как бы кто не заметил твоей фамильярности, чистая и быстрая, ещё не распухшая водохранилищем, река, давшая название городу...

Да, что там говорить?!

Я, как ласточка мчался по его бульварам, опережая время свидания с хохотушкой из Россоши, первокурсницей госуниверситета. От обильных её познаний кружилась голова, и мне приходилось только помалкивать, остерегаясь своей неучёности, компенсируя такой провал наглой бравадой, сознавая, что это, как раз, ей больше всего во мне и нравится.

Да, Воронеж...

Отцу здорово повезло, что он поступил учиться на курсы киномехаников. А где бы он ещё мог показать своё, неизвестно откуда взявшееся красноречие, как не при комментариях тогда ещё немых фильмов. Его кинопередвижку с радостью ждали в каждом селе, в каждой глухой деревушке, предвкушая удовольствие от общения со свежим человеком.

Только что зарождающиеся колхозы, крайне нуждались в массовой пропаганде социалистического образа жизни. И отец в прямом и переносном смысле крутил «кино», на белой простыне развешенной в местной избе-читальне или прямо на бревенчатой стене колхозного правления; в мерцающем луче проектора яркими огоньками вспыхивали ночные бабочки и ослеплённые осыпались прямо на головы зрителей, уставших от дневного крестьянского труда.

Отец, глядя на прыгающие немые картинки, сочинял по полной программе невесть что, сочным и хлёстким мужицким языком, не скупясь в нужных местах и на крепкие выражения, от которых зрители или боязливо ойкали, или покатывались со смеху.

Его несусветная фантазия не знала окорота.

Однажды строгая проверяющая дама из области посетила его сеанс, где восставшие моряки громили всё подряд, обнаружив в солонине для борща червей, как будто русский человек питается только в ресторанах.

Кстати, я сам, когда участвовал в пусках первых ракет на полигоне Капустин Яр, с аппетитом ел червивое мясо, про-

мытое в растворе марганцовки – и ничего! Давали бы только побольше! Армия научит многому...

Но я опять, кажется, отвлёкся.

Так вот, проверяющая дама толчком-молчком, или, как теперь говорят, инкогнито, присела на пенёчек перед экраном, любопытствуя, – как молодой работник культуры, начинающий киномеханик, обеспечивает идеологическую подготовку населения вверенного ему района.

Сначала на туго натянутой простыне высветилось квадратное окно, затем запестрело это окно штрихами, как будто мокрым снегом посекалось, и поползли, замерцали буквы.

«Так-так, Хорошо! – отметала про себя дама. – «Броненосец Потёмкин» – самая партийная картина, вызывающая священный гнев против эксплуататоров. Это не чарличаплинские штучки, где гороховым шутком кривляется комик, забыв о пролетарском долге – беспощадной борьбе с увещателями рабочего класса и трудового люда. Смех плохой пропагандист нетленных идей большевизма. Да... Надо сказать, чтобы новый экран пошили, а то он, вон как обмахрился, да и дырки, вроде, мышами проедены. Нехорошо! Надо товарищам подсказать, направить...»

Но вот уже замелькали торопливые кадры, матросы, буревестники революции, забегали по палубе броненосца, размахивая руками, как маленькие ветреные мельницы, и тогда вступил за кадром чёткий голос молодого киномеханика, выражая артельным языком возмущение порабождённого

класса:

– Полундра! Мать-перемать! На полубаке матросы боцмана грызут! Царские сатрапы в штаны наложили. Да здравствует – мать-перемать – грядущая революция, которая поставит раком, уродуя, как Бог черепаху, угнетателей и опричников капитала! Да здравствует Карл Маркс – мать-перемать – линия партии и все вожди революции!

Проверяющая дама заёрзала на пенёчке, пытаясь выразить клокочущее женское возмущение, но на неё зашикали, послали не в столь отдалённое место. И она замолчала.

Отец был в ударе. Этот сеанс имел скорый и большой успех у народа, а сам председатель коммуны, недавний боец с кулацким отродьем, глядя в экран, стучал култей руки по колену, даваясь табачным дымом, и хохотал и материл царёву службу вслед за комментариями киномеханика, подбавляя жару и в без того пламенную речь последнего.

– Ну, Макарыч! Ну, кинщик! – восхищался он после сеанса. – Ну, удружил старому большевику! Пойдём ко мне домой водку пить!

На другой день областная дама, нервно затянувшись папирской, требовала у начальника отдела культуры категорического увольнения пропагандиста самого действенного искусства – кино.

– Идея правильная, но, каким языком он говорит! Форменное бескультурье! И кто его просит авторизировать текст великого режиссёра? Там же есть титры. У нас народ грамот-

ный, прочитает и другим расскажет. Нет-нет-нет! – выставляет она свою узкую ладонь, стараясь прекратить возражения. – Увольнять! Только увольнять!

Начальник районного отдела культуры показывает ей бухгалтерские документы, где по всем показателям этот киномеханик стоит в передовиках.

– Вот! – кладёт начальник перед проверяющей дамой бумагу. – У него годовой финансовый план выполнен в мае месяце. У нас он один в районе такой. Давай лучше уволим одну книгоношу. Их вон сколько! А книг всё равно нет. Киномеханик Макаров ведёт партийную линию доходчивыми словами, а это в наше время тоже борьба на фронте защиты идей революции. Вы же не против ленинских заветов? – хитро прищурился он. – Верно? Ну, вот и хорошо! Об этом разговоре я никуда докладывать не буду, а то ещё там не так поймут. – Он дружески подмигнул сразу обмякшей даме. – Давайте я вам командировочку подпишу.

Василий! – кричит он в дверь. – А-ну, ходь сюда!

В дверях смущённо улыбаясь, появляется молодой парень, киномеханик этот, тискает в руках модный клетчатый картуз с козырьком, как крыло самолёта.

– Ну, вот что, Василий, – втолковывает начальник парню, – народ у нас малограмотный, если что не так понимают, ты им, пожалуйста, объясняй по ходу действия, да и слова подбирай литературные, доходчивые. Чтоб всё сразу ясно становилось. Надо наших людей культуре учить. Если белые

офицеры бьют по морде угнетённое человечество, ты говори так: «Нехорошо делает золотопогонник, сволочь! Извиняюсь. По лицу нельзя бить. Обидно. Ну, и так далее! Усёк?

– Да я, мать-перемать, таких слов и не знаю! Говорю, как умею. Так все говорят. Намедни кричат: «Давай, Васятка, наяривай!» Ну, я и удовлетворяю желание наших зрителей. Аль, не так? – притворяется он простачком. Дама молчит. Смотрит в сторону, вроде, как и не слышит ничего. Начальник, не выдержав, поворачивает к двери разговорившегося бравого киномеханика:

– Ну, иди! Иди! План выполняй. Не ораторствуй!

Василий ещё силится что-то сказать в своё оправдание. Косит возбуждённым глазом на даму. На другом – у него кожаная чёрная заплатка на шёлковой тесёмке, круглая, как у детской рогатки.

Проводник культуры в массы недавно, по печальному стечению обстоятельств, как адмирал Нельсон или наш Кутузов, лишился глаза, но не чувства оптимизма и уверенности в себе.

Случай есть случай. Хорошо ещё, что так получилось, а то бы лежать ему разmozжённой головой на широком кумачовом столе под огромным, на всю стену, портретом борода-того основоположника российских бед.

Карл Маркс, нарисованный на холстине заезжим художником-передвижником того времени за бутылку водки и пару талонов в общественную столовую, больше был похож на подгулявшего купца, чем на мирового перестройщика социальной системы, особо полюбившейся почему-то только российскому пролетариату.

Но, что ни говори, а по наличию этого портрета всякий мог определить, что здесь находится Советская власть со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Действительно, на партийном активе сегодня решался вопрос всех вопросов текущего момента – коллективизация.

Наметились, пока что на черновом листке, ещё не умытые слезой и кровью её первые ласточки.

Событие решили отметить, как всегда, торжественным ужином. Вроде, по поговорке: «Уж если что я и решил, то выпью обязательно!»

Пока суть да дело, пока наливали-закусывали, кто-то вспомнил, что неплохо бы киноленту покрутить. Вот она, аппаратура-то, в углу пылится. Послали за моим отцом, кото-

рый, как на грех, только что приехал, отпросившись с занятий в школе киномехаников на престольный в селе Вердеревщино Праздник Скорбящей Божьей Матери, который и в новое время почитали в селе не менее торжественно, чем при старом порядке, несмотря на запреты.

Ученик воронежской школы киномехаников, уже подгулявший на празднике, с большой охотой согласился показать свою недавнюю выучку перед ответственными товарищами.

Пришёл весёлый. Кожаная куртка нараспашку, рубашка васильками вышита, в хромовых сапогах – лампа десятилинейка в них отсвечивается. Кино покрутить – это мы враз! Открыл ящики, раздвинул треногу с проектором, вставил бобину с лентой, портрет Карла Маркса перевернул на испод – хороший экран получился. Всё честь-по-чести, как учили.

Кино французское. Про любовь ихнюю.

– Давай, Васятка! – кричат.

– Даю, даю!

Лента была французская, да аппаратура русская.

В то время электричеством в сёлах ещё и не пахло. А чтоб в проекторе зажглась вольтова дуга, лампы были дуговые, надо крутить динамомашину, ток в проектор подавать. Крутить динамо – дело хлопотное, нудное. Пока кино прогонишь, руки отвалятся. Непозволительно авторитетному активисту обезьянничать. А здесь, как раз, дружок отца подкатил на предполагаемую халявную выпивку. Зуёк этот. Он среди активистов хоть самый молодой, а свой человек, ком-

сомолец.

– Будешь динамо крутить?

– Буду! Только сперва горючку давай!

Дали «горючку».

– На, пей!

– Ваське налейте, он мой друг. Не продаст.

– Садись, Василий!

Ну, от выпивки, да ещё с хорошей закуской, общественная говядинка была, кто ж откажется?! Компания – вон, какая! У них власть в кулаке.

Сели. Хозяева тоже повторить решили. Четверть снова на столе шею тянет.

Вдруг – бац! Громыкнуло в окне. Четверть стеклом брызнула. Окно вместе с рамой вдребезги. Дуплетом стреляли.

– Ах, мать-перемать!

Схватились за стволы. У каждого револьвер за пазухой – мандат на отстрел враждебных элементов. Классовая борьба.

Кто в простенок встал, кто – на улицу. «Бах-бах!» – никого. Только собаки всполошились, да по всему селу в окнах огонь сразу потух.

Вроде обошлось.

Только Гоша Заусенец, который в комбеде княжил, у стола распластался. Всё лицо в синих оспинах и в зачёсе две-три бруснички запутались. А так – ничего, перепил, вроде.

Тихо стало. Зуёк рукой трясёт. У него стакан в кулаке раскрошился. Пальцы в крови все. Отцу только соринка в глаз

попала, махонькая, а никак не сморгнёт. Потёр рукавом – колко!

Вот и покрутил кино!

На другой день посмотрел в зеркало – у переносицы красный паучок гнездо свил, по всему глазу паутинки раскинул. Придётся снова к Секлетиные идти. У той на все случаи разговор есть.

Бабка посмотрела, посмотрела, пошарила языком по главному яблоку и говорит:

– Нет, милоч! Тут тебе ни одна бабка не поможет. Иди к фельдшеру. Стекло у тебя в глазу глубоко сидит, нешто я выну. А он смогёт. У него инструменты есть.

Пошёл к фельдшеру. А того после праздника корёжит.

– Беги, – говорит, – за самогонкой!

Сбегал. Принёс поллитру. Выпили.

– Садись у окна, смотреть буду.

Взял лупу, выкрутил глаз наизнанку. Боль адская.

– Ничего, Васёк! Наверное, табачной крошкой запорошил. Никакого стекла нету. Брешет Секлетиныя. На неё, куда надо напишу, чтобы людям головы не морочила. Незвестно, что она ещё нашепчет, если ей дать волю.

Выпили ещё. Фельдшер хлопает по плечу.

– Иди домой! Глаз – не бабья заманка, всё проморгает!

Не проморгал.

Приехал в Воронеж на занятия. Ленту в бобину не заправит, слезой зрачок заливает. Красная паутинка на второй

глаз перекинулась. Совсем смотреть нельзя.

Друзья довели до санчасти.

– Э-э, братец, у тебя омертвление на правом глазу, а на втором – воспаление начинается. Немедленно в больницу к глазнику!

Добрёл до областной больницы.

К глазнику очередь. Сидит, ждёт. Голова горит, хоть яичницу жарь. По лицу, будто хлыстом стеганули.

Дошла очередь. Ощупью до кушетки добрался. Глазник окуляры надел. Лампой светит. Молчит. Туда-сюда крутит.

– Женатый? – спрашивает.

– Холостой. Ещё не успел жениться.

– Это хуже!

«Зачем спрашивал? – думает отец. – Поговорить, вроде, не о чем. Больно, терпения нет, а он с подначкой...»

– Н-да! – глазник снял окуляры, положил на стол. Помолчал. – Как зовут-то?

– Василий.

– Вот что, Василий. Дело – хуже некуда. Некроз начинается. Глаз удалять надо. Подписывай бумагу!

«Что? Как? Зачем? Какая бумага?» – вскочил с кушетки. Ужас прошёл стальным костылём от головы до пяток, так что доктору с немалым трудом пришлось снова усаживать парня.

– Слушай, Василий, – придвинулся к нему доктор, – если не хочешь остаться на всю жизнь без глаз, незрячим, соглашайся на операцию. Вот подпиши документ. А с одним гла-

зом даже прицельней невесту выбирать. Не промахнёшься!

Глазник, скорее всего, был добрым человеком, и невольной шуткой решил приободрить несчастного парня.

А времена тогда стояли жуткие. Частному предпринимательству поставили плотину из колючей проволоки – руки за голову – и вперёд! Поголовная бедность, бестолковщина и нехватка всего необходимого. Операция срочная, а анестезию делать нечем, хоть дубовым колом по голове бей, чтобы отключить пациента.

Без обезболивания и чирей не вскроешь, а здесь по живому глазу резать...

Но доктор в гражданскую войну делал и не такое. Он кромсал комиссаров вдоль я поперёк. И ничего, не расстреляли, даже орден Красного Знамени за спасение рыцарей Революции получил. Одним словом – хирург, мастер ножа и дратвы. Он знал, что с операцией медлить невозможно. Ещё день-другой – и гангрена. Тогда – лабей! Тогда не то что глаз, а и другое что уже не потребуется.

– Раздевайся!

Медсестра принесла больничное одеяние, и не успел несчастный опомниться, как очутился на операционном столе.

Надо признать, что единственное, в чём не было в те дни перебоя – это спирт-сырец. Ещё до революции налаженное производство работало и теперь исправно, правда, очистка никак не получалась. Забыли, как это делается. Но, как го-

ворится, – не до жиру, быть бы живу.

Доктор налил в тонкого стекла мензурку по самый краешек из зелёного графина с высокой гранёной пробкой.

Пей, Василий!

Пациент обречено посмотрел на ёмкость в руках у доктора. Такое количество спирта, да ещё не разведённого, ему пить до сих пор не приходилось.

– Не осилю, доктор! Здесь целая пол-литра будет.

– Пей залпом! Только не дыши. Считай, что последний раз пьёшь, а больше не нальют. Да смотри не промахнись, а то мне с тобой, ох, как возиться придётся!

Зажмурясь, отец торопливо, большими глотками опорожнил лабораторную мензурку. К его удивлению спирт пился, как вода – никакого привкуса, только две маленькие дорожки по краям губ просочились, – обманул доктор!

Но, когда он, подопытный кролик, задышливо втянул воздух, тот вошёл в него, как раскалённый стержень. Согнувшись пополам, он пробовал вздохнуть ещё раз, но спазм свёл лёгкие, и воздух тугой пробкой встал в горле.

«Отраву выпил!» – пронеслось в голове.

Доктор сзади легонько ударил его по спине, и сунул в рот зажатую папиросу.

– На-на, курни! Полегчает.

Длинная затяжка, действительно, принесла облегчение, в голове зазвенели колокольчики, вроде он снова, как тогда с кучером домой летит. Тело стало приобретать необычно-

венную лёгкость. Он даже боязливо ухватился за край стола, опасаясь над ним воскрылеть.

Доктор, немного помедлив, вытащил у него из губ папиросу, докурил сам, и велел медсестре нести инструменту для операции.

«Как провалился куда, ничего не помню – рассказывал не раз отец. – Очнулся только, когда меня взнуздывать стали. Доктор сунул металлический стержень мне в зубы, ну, навряде большого гвоздя, каким половицы шьют, и опрокинул меня на клеёнчатую столешницу. Ремнём тот гвоздь затянули, голова, как в тисках очутилась. Ни туда, ни сюда. Руки, ноги тоже к столу привязанными очутилась.

– Сожми зубы, Василий. Крепко сожми! – говорит доктор, а сам мокрую салфетку на лоб кладёт. – Жми сильнее!

Я челюсти стиснул – четыре коренных зуба в крошку рассыпались, и огненные брызги из глаз. Я думал, черепушка лопнула.

– Ори громче! – кричит доктор. Стержень грызи!

Я хочу заорать, а рот-то взнуздан, один хрип из горла лезет. Полоснуло меня ещё раз огнём по глазам, и всё – кранты! Очнулся через сутки. В палате лежу. То ли ночь, то ли день, никак не пойму. Глаза туго завязаны, и голова трещит, видать, спирт весь вышел. Сгорел в организме.

Вдруг чую, мне кто-то в руки стакан суёт.

А это опять доктор был. Дай ему Бог здоровья, если жив.

– Как чувствуешь, Василий?

А я рот раскрыть не могу, язык распух, и губы, как калоши сношенные, потрескались все. Мычу только.

– На, выпей ещё, а то на стенку от боли полезешь.

Выпил, конечно. Куда деваться? Сквозь зубы процедил. А закуски никакой. Да и жевать мне нельзя, пеньки во рту раскорячились. Выпил и снова отключился. Это уж потом Рубиншей...

– Господи, да сколько тебе говорить? – поправляла его мать Рубинштейн – доктор. У тебя и в бумаге написано – Рубинштейн!

Ну, хорошо! Одним словом, человек! Царствие ему небесное, если умер. Справку мне выдал с печатью гербовой, что я, Макаров Василий Фёдорович, ввиду принятия живым казни, имею расшатанную нервную систему, и за свои действия, если кого обижу, прошу простить.

Действительно, такая справка у отца имелась. Я её видел в детстве, ну а потом она куда-то затерялась.

Доктор Рубинштейн, наверное, был человек не только добрый, но и с юмором. Написал молодому парню справку – пусть ходит!

Казнь-то была всамделешняя...

Однажды эта справка спасла моего отца от верной тюрьмы.

Ребята в школе киномехаников, где учился отец, молодые, озорные, на язык не сдержанные. В курилке шутки, матерки, обычные подначки. Каждый выхваляется своими успехами у девок.

Надо отдать должное воронежским заманкам, под замком свои прелести они не держали. Закон природы!

Недавняя гражданская война, разруха и замашистый гребень Чека убористо прошли по русским избам, оставляя после себя распашливых вдовушек и невест-вековух, которым внимательная, здоровая мужская сила была далеко не в тягость.

Отец по первости тяжело переживал своё неожиданное уродство. Это он уже потом пообвыкся, попривык к своему положению, загнав грызущую боль на задворки душевных неурядиц. А по первости – да, горько ему пришлось в неполные двадцать лет, смотреться в зеркало.

Выкроил из старого голенища кожаную заплатку на глазную прореху, перехватил её чёрным шёлковым шнурком, освободив от него литого золота крещенский крестик, который подарила ему в младенчестве мать-крёстная, Степанида, тётка по матери, когда-то проданная местным крепостни-

ком в Козлов. Уж очень понравилась смышлёная дворовая девчонка козловскому помещику. Вот он и выкупил её для своих потребностей, разлучив с отцом-матерью.

Но слёзы крепостной девочки отлились в жемчужины.

Скоро подросла реформа, и барин, одарив Степаниду, выдал её, четырнадцатилетнюю, замуж за своего управляющего. И зажила тогда Степанида припеваючи, не забывая и своих родственников.

Жила Степанида долго. Умерла в сто пять лет. Я ещё её помню, высокую, статную, седую старушку, которая одевалась по старой моде и ходила всегда прямо, не сгибая спины. Изваяние, да и только!

Когда я жил в Тамбове у своей тётки, отъезжая на летних каникулах, Степанида однажды привезла мне из Козлова-Мичуринска небольшое лукошко невиданных у нас в Бондарях ягод – крупную, почти что в мой детский кулачок садовую землянику. Разве такое забудешь!

Вот ведь как – прошлое, как трава повилика, цепляется за молодые ростки будущего, не разрывая нити жизни, тянущейся из глубин времени...

Да...

Но моё повествование о родителе, сделав небольшой зигзаг, снова возвращается в свою колею, по которой идёт и моя жизнь.

Трагедия молодого парня, лишившегося глаза в самый цвет, принуждает его замыкаться в себе и сторониться более

счастливых сверстников.

Оставаясь по вечерам один в общежитии, он снова и снова прокручивал в голове своё счастливое время до того нелепого случая и горько в подушку плакал. Но что толку от этих слёз?

Ещё не совсем зажившая рана глазного дна начинала саднить, и он снова шёл к доброму Рубинштейну на перевязку. Тот крутил перед яркой лампой его чубатую голову, поругивал за неаккуратность, капал в глазную прореху какую-то маслянистую жидкость и накладывал клейкий пластырь...

Сумеречный мир. Кругом весна, ласточки-касаточки, хлопотуньи небесные, воздух стригут, акации в лицо ароматами дышат, как крутобёдрые горожанки после парикмахерской или хорошей баньки, а у молодого курсанта, проводника революционного искусства в народ, не рассветает.

А здесь, как на грех, один счастливчик из его группы стал выхваляться, стал задирать своего одноглазого собрата, называть обидными словами: «Ты, – говорит, – камбала одноглазая, куда вырядился? Надеешься, что какая-нибудь горбуня позарится?»

А отец, как раз, отутюжил шерстяные диагональные галифе, какие в то время были в моде, надел свою шитую васьками рубашку, плетёным поясом опоясался и собрался, спрятав горечь, в городской парк на танцы. А тот, который был счастливчиком, похохатывает: «Ишь, заяц косой за лисьим мехом собрался! Инвалид, а всё – туда же».

Отцу, конечно, это не понравилось. Он защищать свою честь научился ещё тогда, когда хаживал с артельными ребятами. Ну, и застелило ему разум. Выхватил из-под себя дубовый табурет и грохнул своего обидчика, того, кто недавно счастливо смеялся над ним. Табурет был старинной выделки, конечно, цел остался, а вот голова у счастливчика оказалась проломленной.

Потом насмешник тот, тоже стал инвалидом. Не зарекайся, все под Богом ходим!

Начальство всполошилось. Вызвали скорую помощь. Подспела, как раз, и милиция.

– Всё, Василий, каюк тебе! Отгулялся на воле!

Следствию ясно – бандитский поступок против молодого активиста культурного фронта. Стали допытываться: кто отец-мать, бедняками ли числятся или кулачьем стяжательством свою дорогу мостят? С антоновскими вырожденками в родстве ли?

А хозяйство у родителей отца было крепкое, перед самой революцией на отрубях землю прикупила, веялки-крупорушки в амбаре. Плакали бы по ним Соловки, да, слава Богу, один странный человек, который всю землю пешком исходил, будучи у родителей моего отца на постое, присоветовал им продать имущество, оставить для себя десятину земле – и хватит. Говорил – пойдёт Гол и Могол, всех под одну гребёнку будет стричь, как баранов. А денежки золотые, царской чеканки всегда в цене будут, и даже больше, они не

ржавеют, и пока что крови на них нет, тем и жить потихоньку будете.

Посумлевались божьи крестьяне, поохали, да и продали, что сумели, вовремя, а теперь числились по статье бедняцкого хозяйства – опора Советской власти на селе.

Но не это спасло отца от тюремного позорища, а махонькая справочка доктора Рубинштейна, что такой-то и такой-то имеет нервное расстройство, потому как пострадал от враждебного классового элемента и принимал мучительную казнь, в результате чего и лишился глаза. А тут и товарищи вовремя подоспели со свидетельскими показаниями, что первым напал тот «счастливчик», что арестованный их сокурсник только защищался.

– Ах, вот как?! Получил ранение, защищая народную власть в Бондарях!.. По-живому глаз вырезали? Горячо сочувствует линии большевиков? Отпустить страдальца!

Начальник, который вёл дело, бумагу директору курсов написал, чтобы его снова восстановили в обучении. По какому праву исключили? У нас Советский суд решает, кто преступник, а кто пострадавший. Выплатить повышенную стипендию за вынужденный пропуск занятий!

Выпорхнул узник из узилища пташкой вольной. Враз свой телесный недостаток забыл.

В общежитии ребята его встретили, как героя гражданской войны. По плечу хлопают, папиросы протягивают – кури, Василий! Заслужил!

Но ящик водки отцу всё же пришлось своим школярам выставить. А куда денешься, если каждый норовит с тобою за руку поздороваться? Да ещё и неизвестно, как бы помогла справка Рубинштейна без их участливого вмешательства. Так что – пейте, ребята!

Надо ли говорить, как отца после этого зауважали его соскурсники: «Василий, айда с нами на посиделки!», «Васятка, махнём к студенткам в педик! Училки, как орех, так и просятя на грех!», «Васёк, иди с нами, выпей!»

Васёк распрямил плечи, стал веселее поглядывать на жизнь. А тут учёба закончилась. Одни воспоминания на всю жизнь...

В кармане – удостоверение киномеханика и направление на работу по месту жительства.

Приехал – брюки английского сукна – бриджи, куртка вельветовая на молниях, белый шарф шёлковый шею, как невеста ласкает, сапоги трубой, скрипучие... Да что там говорить! Вот она – карточка того времени! Голубь сизокрылый! На селе первый человек.

В областном отделе кинофикации новенькую аппаратуру выдали. Жеребца ядрёного с чугунными шарами и таратайку на рессорах уже в районе получил. Жеребца за его стать «Распутиным» прозывали.

Составил молодой киномеханик график, расписание постановки сеансов по деревням: кино – в массы! Начальник отдела культуры по рукам ударил: «Действуй!» И пошла, за-

крутилась его весёлая жизнь. Везде он гость желанный. После сеанса, как и положено, у председателя колхоза ужин, конечно, не без выпивки.

Всё-таки не прав был тот «счастливчик», который отца корил за его одноглазие. Девчата ластятся, голову кружат. Им ведь что? Руки-ноги, да ещё кое-что есть, а с одним глазом – ничего, меньше изъянов будет видеть.

Но молодой киномеханик всё видел в правильном свете: голову не терял. Она ведь на плечах не только для шапки.

Кинопередвижка того времени работала от динамо-машины, которую надо было кому-то крутить.

Ток подавался на два угольных стержня. Проекционная лампа была дуговой, и малейшая оплошность киномеханика могла привести к загоранию дорогостоящей целлулоидной плёнки, которая горела, как порох.

Поджоги плёнки случались и у моего отца, которому потом приходилось выплачивать её немалую стоимость.

Динамо обычно крутили вездесущие мальчишки, охотников было – хоть отбавляй. Но мальчишки крутили ручку больше из удовольствия. А от удовольствия, какая работа? Баловство одно. Ток подавался неравномерно, и широкая простыня экрана, то разгоралась белым каленьем, то подёргивалась серым пеплом. Свист, недовольные крики зрителей портили восторженное впечатление от революционного искусства.

А по Бондарям в это время шумно справлял своё отлучение из лётного училища бондарец один, погодок отца. Галифе тёмно-синего диагонали, хромачи гармошкой, гимнастёрка с отложным воротником, на рукаве нашивка – птичка золотая распласталась, фуражка с голубым околышем заломлена не по уставу. Конечно, под хмельком.

Встретились в чайной.

– Серёга!

– Василий!

Ударили по рукам. Выпили. Повторили. Разговор пошёл.

– Иди ко мне в напарники кино крутить! По деревням кататься. Вино и харч дармовые, комсоставские. Тужить не будешь. Ну, не понравится – уйдёшь. Не жениться ведь?

– Тьфу, тьфу, тьфу! Типун тебе на язык! Какая женитьба, когда кругом – воля! А вино и харч – подходят. Папаня свирепеет, на Магнитку вербоваться заставляет. Бубнит: «Я те кормить не буду, дармоеда».

Ударили по рукам. Выпили. Потом отец ещё водки заказал. Рад, что напарника нашёл.

Идут по селу – хорошие. Высматривают, может где гармошка играет.

Навстречу Настасья, сестра недоучившегося лётчика Сергея. На голове берет велюровый белый, коса смоляная, чёрная на плече улеглась. На шее косыночка китайского шёлка, платье кисейное по самые щиколотки, сапожки короткие на медных застёжках. Остановилась. Смеётся. Смотрит прямо. В глазах ивовый цвет полощется. Невеста!

– Ты куда это вырядилась середь дня? – голос у брата строгий, требовательный. Сразу видно, кто в семье главный.

Сергеев спутник подобрался весь. Стоит, не шелохнётся. Как гвоздями пришитый. Нехорошо в грязь лицом ударить перед незнакомой девушкой. Козырёк клетчатой фуражки опустил, чтобы хмельной дымок в глазу виден не был. «Ах,

Серёга, хрен моржовый! Не знал, что у него такая сестрёнка вымахала. Прямо, как горожанка на сельской улице!»

– Василий! – знакомясь, протягивает руку.

Настасья протягивает свою, узкую. На пальчиках маникюр.

«Вот те на! Она и взаправду городская!»

Сергей хвалиться стал. Товар лицом показывает. Его сестра на медичку выучилась. Теперь вот в районной больнице фельдшерицей работает. Прививки разные по деревням делает, уколы ставит.

– Идём свататься! – сказал Василий.

Анастасия весело засмеялась и пошла своей дорогой.

Слово «свататься», наверное, самое весёлое понятие в русском языке. В нём – всё! – и молодая удаль, и признание в любви, и желание породниться с до того чужими или даже незнакомыми людьми, кровными родственниками невесты, за которыми следуют: большая выпивка, хлебосольное застолье и сладкая перемена жизни.

Новый компаньон бравого киномеханика – друг Серёга – при этих словах пришёл в восторг:

– Пошли, пока Настёнку кто-нибудь не перехватил! Она знаешь, какая? Знаешь, какая? Во! – он, качнувшись, выбросил сразу два больших пальца вверх. – А чего её спрашивать? – Серёга цвиркнул меж зубов длинную струю на землю. – Как папаня скажет, так и будет. А он решит правильно. Пошли!

Улицы в Бондарях прямые, широкие. Далеко видно.

Орлы идут!

Сергея и Настёнки мать на дальнем порядке улицы концами платка утирается:

– Никак, наш?

Вышел хозяин. Самокрутку набивает. Брови сдвинул:

– Не наш, а твой! Желанница! Нажалелась!

– А энтот кто же с ним в картузе?

– Да, видать, активист из Совета. Снова описывать имущество будет, мать твою перемать!

– Ты что, Степан? Тот, вроде, повыше был, и с портфелем, а у этого руки не заняты, воздух хватают. Наверное, дружок Серёжин, коль серёд дня без делу лытает.

– Вот кого в колхозы писать, ветродуев, пусть там языками землю попашут. Коллективисты! Ну, я щас им покажу!

– Не колготи, Степан! Может, они, и впрямь, по какому делу идут? Вишь, руками размахивают. А ты – с гонором! Сначала поговори, чего зря сразу за гужи хвататься?

Подходят.

Дружок Серёжин вежливый. Родителей на «вы» называет. Здравкается. А дальше, что сказать – не знает. Мнётся. На глазу кожаный кружок ладонью прикрывает. Вроде, от солнца застится.

Сергей на крыльцо грудью напирает. Хорохорится.

– Вот, папаня, родственника привёл!

– Какого родственника? Ты что, сдурел спьяну, сукин

сын?! Мы таких не знаем и знать не хотим! Тоже, видать по обличаю, – бездельник!

– Он за Настёнку свататься пришёл. В жёны брать будет.

Сергей хлопает по карманам. Ищет курево. Его дружок протягивает большую толстую папиросу. Тот подхватывает и, мусоля мундштук, пытается прикурить от отцовской самокрутки. Горящая махорка осыпается жаром тому на кисть руки.

Степан был мужик фабричный, рабочей закалки, на бондарской ткацкой фабрике с малолетства у станка с шабёром и напильником от детских игр отучался. Рука твёрдая. Бац, сыну в лицо! Сунул, как будто коротко, а у того – кровь из носа.

Сергей мычит, трясёт головой, расшвыривая кровь на скоблённые к празднику доски крыльца. Согнувшись, по-бычьему на отца пошёл. Да тут мать-заступница подросла. Стала промеж, руками загородила, чтобы до плохого не дошло.

Сергей вытер рукавом сопатку:

Пойдём отсюда, Васька!

Оглянулся – никого нет. Отец с матерью в избе, а он один на порожке сидит. И дружка его сегодняшнего след простыл. Зыркнул на избу – одни куры в горячей пыли усадисто хлопчут.

Пошёл в амбар на прохладных половичках отлёживаться.

А у Василия сердце так и зазнобило, так и заныло ретивое. Заноза, как гвоздь в пятку, в душу вошла, а вынуть больно. Только вспомнит глаза зелёные, жёлтой пылью подёрнутые, косу чёрную на плече, смешок девичий, простодушный, без умысла, засосёт в груди, заноеет. А всё оттого, что глаз ремешком перепоясанный, куда денешь? С такой заплаткой кому нужен? Зубами скрипит, а сделать ничего не может.

На работе дело пошло споро. Бойцы красного культфронта, отсталое крестьянство и другие несознательные элементы тамбовщины к новой, невиданной досель, жизни приобщаются. Вон, оказывается, как народ при советской власти живёт! На колхозных нивах колос гнётся, коллективисты на работу, как раньше на престольный праздник с песней ходят, в новых рубахах обряженные – всё сатин да батист. Это, наверное, только здесь, у нас, нищета из всех углов топорщится, зубами клацает. А где-то – живут люди!

Сергей динамо крутит, Василий у проекционного аппарата белым снопом света из тьмы непроглядной сладкую жизнь выхватывает, за артистов речь держит – где надо, шуткой отойдёт, где надо горечью обольётся. Народ доволен. Молодцы ребята!

Пока Василий киноаппаратуру налаживает, платочком окуляры протирает, его помощник Сергей, Настёнкин брат,

билеты продаёт. Денежки, вот они – в шапке! Никакого потайного баловства. А если что и когда скальмят, то это – Распутину, жеребцу-захребетнику на овёс. Коняга к водке хоть и равнодушен, а тоже кушать хочет. С питьём проблемы не было, а вот с овсцом иногда случались и перебои. Тогда по дороге сенца из стожка одинокого надёргают – ешь скотина!

Иной раз Распутин так их рысью прокатит, что поутру в голове, как наковальню поставили.

Но лошадь, хоть и тварь безъязыкая, а сознание имеет мужское, товарищеское. Если в какой неурочный час ездки и вздремнут в повозке, Распутин сам дорогу знает: возле районного дома культуры ногу к ноге приставит и тихонько подоржёт – вставайте, мол, вот она, конюшня ваша!

Разгрузятся, сделают профилактику аппаратуре и себе, а к вечеру снова в дорогу, снова счастливую жизнь высвечивать из гущи беспросветных будней.

Едут они так. Дорога неблизкая. Василий и начнёт откуда-нибудь сбоку про Настёнку спрашивать, интересоваться о девичьей жизни.

Серёга отмахивается – живёт чего там? Тоже по деревням обитает, только всё больше пёхом, прививками, гигиеническими просвещениями занимается. Гулять некогда.

А чего спрашивает? Пришёл бы, она по субботам завсегда дома.

– Заходи к празднику, сам увидишь. Чёрт гривастый! – прикрикивает на Распутина Сергей, тот, нехотя, переходит

на бег затем снова, меланхолично поддёргивая головой, перестаёт пылить, и таратайка опять покачивается в летнем ма-реве.

– Как же, придёшь к вам! Отец твой зверюгой на меня смотрит. Небось, выгонит, – вправляет разговор в нужное русло напарник.

– Ну, может, и выгонит. А волков бояться, так и в лес не ходить.

– Ну, что ж, приду как-нибудь.

На другой день в гости пришёл один, без Сергея. Галстук лопатой, кожаный пиджак конопляным маслом натёр, сапоги из-под утюга светятся, как лампы на праздник – подковки о половицы цокают. На всякий случай встал под матицу. Кланяется:

– Здравствуйте!

– Здравей видали, – недовольно пробурчал в разлапистые усы хозяин дома, даже не предложив гостю табурет. – Чего пришёл? Вроде праздника никакого нет, а ты без делу по дворам шатается.

Хозяйка глаза отводит, неудобно за мужа, а перечить не может. Не положено.

Гость с ноги на ногу переминается, сапоги проклятые кожей скрипят. Сердце – тук-тук-тук!

– А я к Сергею Степановичу. Он мне по работе нужен. – А сам глазом из прихожей в горницу заглядывает. На что-то надеется. А вдруг из-под божницы оттуда розовый бутон

зацветёт. Настёнкина улыбка засветится. Чудеса не только в сказках случаются.

– Ишь, какой вежливый! По имени-отчеству собутыльников величать начал. Нету его! Небось, сам знаешь, где он в эту пору гнездо свил, стервец. Вы с ним – одна шайка-лейка. И нечего тут придуриваться. Чего стоишь? Дай пройду!

Хотя дверной проём был сбоку, но хозяин почему-то шагнул от окна к гостю, как будто тот стоял у него на дороге.

– Ишь, свет застал!

Степан Васильевич, не церемонясь, надвинулся на парня, стараясь вытолкать его за дверь.

«Ах, ты, хрен старый! – ругался про себя, выходя из неприятного дома, озадаченный жених. – Дать бы тебе разом по хлебалу за твою вежливость, да руки связаны! Перед Настенькой срамиться не хочется. Обманул Серёга. Сказал, что сестра дома будет одна, – говори, сколько хошь, никто не помешает. Вот тебе и наговорился...»

Сбоку скрипнула калиточка, и в прогале с тихим смешком вспорхнул весёлый цветастый платочек, нарядный, как летняя бабочка.

Но жених, заложив руки за спину, уже вышагивал по пыльной улице, норовя, во что бы то ни стало, отыскать своего дружка, и высказать всё, что он о нём думает. Тебе, дураку, мол, динамо крутить только, а не сердечные дела решать.

– Э-э, Макарыч, всего и делов-то! Нашёл о чём тужить, мы Настёнку в два счёта окрутим! – сбил Сергей свою форменную с крылышками фуражку на затылок, когда они готовили аппаратуру к вечернему сеансу в соседней деревне, до которой и пешком час ходьбы, а на вверенном им рысаке по кличке «Распутин» – глазом моргнуть. – Я сестрёнку сегодня с собой на кино приглашу, а там ты уж сам постарайся ей в душу влезть. Да и с руками поаккуратней, а то последний твой глаз выцарапает. Ну, а на мой кулак можешь всегда рассчитывать. Я в стороне стоять не буду. Во, получишь! – выставил он свой жилистый смуглый кулак.

– Действуй по-хорошему, чтоб всё было честь-по-чести. Обрадованный воздыхатель мимо ушей пропустил замечание насчёт глаза. В другой раз такое он своему динамокрутителю не простил бы.

– Давай, иди за Настей! С аппаратурой я и сам справлюсь. Скоро я и тебя научу кино гнать. Специалиста сделаю. Иди! Соловьи запели, защёлкали под рубашкой. Как же он раньше не догадался пригласить сестру Серёги на сеанс? Небось, и её храпоидол-папаня не догадался бы. Кино все любят. А киномеханик молодой любит девушку Анастасию. Имя-то, какое сладкое!

Для сегодняшнего сеанса из небольшого выбора кинолент

он отложил фильм с многообещающим названием «Мать».

О чём будут рассказывать бегущие картинки, он ещё не знал. Фильм только что привезли из областного отдела кинофикации, но само слово «Мать», как нельзя кстати, подходило для сегодняшнего показа и так воодушевило моего отца, что он тут же, не дожидаясь вечера, решил сделать пробный прогон ленты, чтобы разобраться в его содержании, а то потом как же комментировать зрителям то, что происходит в фильме. Ведь сегодня ему надо показать всё, на что способен настоящий пропагандист советской культуры.

Вездесущие мальчишки резво крутили динамо, наперебой стараясь угодить дяде киномеханику, который на этот раз оказался и не таким злым, разрешив посмотреть картинки, которые сами двигались на побелённой стене кинобудки.

Сам киномеханик по-соколиному вглядывался в меняющиеся кадры, разбираясь, что к чему. Там дрались, пили, куролесили такие же ребята, как и он сам.

Вначале всё было похоже на действительную жизнь фабричных рабочих.

Ещё недавно Бондари были таким же посёлком – неугомонным и шумным. Вон ещё и теперь разграбленная и разорённая суконная фабрика сквозит пустыми окнами, воткнув щербатую трубу в низкое дождливое небо.

Теперь в Бондарях безработица. Бывшие фабричные плохо привыкали к новой непонятной жизни. Три маленьких колхозника, кое-как сбитые из ткачей и мехрабочих, не успев

встать на ноги, на глазах разваливалась. Не привыкшие к земле фабричники, матеря всё на свете, спустя рукава колу-пались в земле, понукаемые пришлыми руководителями, которые и сами, не понимая ничего в крестьянском деле, гробили на корню и урожай, и благие начинания...

Ладно. Всё. Разобрались.

Пьяная гольтепа, снующая на экране, замыслив революцию, разом бросила пить и кинулась распространять прокла-мации по цехам, устраивать забастовки. Значит, неотврати-мо грядёт кризис капитализма, у забитых и угнетённых гла-за просветлённые, в каждом – отблеск мировых пожарищ. Даже затурканная и битая мужем мать Павла, вздыбив руки, зовёт своего сына и его партийных товарищей на священную борьбу классов. Так, понятно. Это они учили в школе ки-номехаников на каждодневных политзанятиях. Надо только правильные слова подбирать, чтобы, да дай Бог, матерные не выкинуть. Тогда – прости-прощай. За хулигана примет. Нет, надо всё, как учили, говорить.

Киномеханик, смотав ленту, бесконечно прокручивал и прокручивал в голове текст, который он сегодня будет ве-щать народу. Здесь у него последняя надежда. Будем мостить мосток к другому берегу, где поют сладкие соловьи любви...

Сестра Сергея с радостью согласилась поехать в Метро-полье, недалёкую от Бондарей деревню, где кинопередвиж-ники должны были организовать сеанс.

А почему не поехать? Брат рядом, да и сам киномеха-

ник выглядит приличным человеком, обходительным, не как местные, которые спьяну пообвыклись горлопанить непристойные песни да частушки, драться между собой, да грубо приставать. А этот с виду – совсем городской молодой человек, а что глаз, говорят, потерял во время кулацкой перестрелки – ещё ничего. Что ж теперь делать? Ну, потерял. Главное – человек, и руки-ноги целы. Этот не будет заниматься пустобрёхством и пускать мыльные пузыри, показывая из себя, какой он герой. Жалко, конечно, но и с одним глазом люди живут. Вон соседа, Ивана Махоткина, с гражданской войны совсем без ног привезли – и ничего. Тётка Поля его не бросила. Который год за ним ухаживает, троих детей нарожали.

У папани отпрашиваться не стала. Зачем лишние разговоры да оправдания? Что она, школьница, какая? «Скажу, на улице была», – решила для себя Настёна, накинув на плечи голубой полушалок с кистями, и пошла тихонечко с братом за переулком, где её ждал, прикуривая от папиросы папиросу, неугомонный страдалец.

Отдохнувший жеребец Распутин краешком копыта нетерпеливо подгрёбал землю, словно выискивая в траве потерянный золотой бубенец.

Радостный воздыхатель торопко усаживал гулёну в пружинистую бричку, расстелив свой заморской кожи вишнёвый пиджак. Ещё брал в Торгсине, когда артелил в Москве, большие деньги стоил пиджачок, а теперь – нате вам! Ничего не жалко! Сам под ноги такой красавице выстелился бы, коль разрешила...

– Нн-о! Родимый!

Напарник, чертыхаясь, еле успел вскочить на изгибистую подножку.

– Куда гонишь, Макарыч? Попридержи вожжи!

Какое там! Только весело закружилась бондарская пыль под окованными железом колёсами. Только ойкнула проходящая баба, и долго смотрела из-под руки на лихих кучеров: «Кудай-то они так спохватились? Никак пожар где?»

А пожар, действительно, горел в груди не от капли винца у лихого молодца, и нечем было забить-остудить пылающий уголь.

Вот он, рядом локоток, да не укусишь!

Кто был по-молодости молод, тот знает неуёмную силу этого огня, от которого не скрыться.

Кино крутили в избе-читальне.

Сначала председатель предложил ставить фильм прямо на улице, у колхозного правлений – чего людей загонять в избу? Но киномеханик доходчиво разъяснил партийную важность момента. Фильм пролетарский. Подготовка революционных дрожжей 1905, незабвенного года. Сам Максим Горький, защитник угнетённых, писал фильм для настоящих коммунистов. Это как понимать? На скотном дворе пролетарскую культуру делать? А что скажут там, наверху? То-то!

Председатель громко высморкался, почесал затылок: «Нда... Марья, открывай свою читальню, мать-перемать! Какую-то «Мать» крутить привезли. Пущай народ культурно на лавках посидит. Семечки лузгать только в руку. Да самоса-дом дымить полегше. И чтоб ни одного окурка на полу! Избу подожжёте. Для этого пожарный ящик с песком вам поставили. Цигарки туда бросайте. Ну, всё! Зачинай, Макаров, свою «Мать» показывать. А после кино я тебя как-нибудь отмечу. Понял?» – председатель колхоза надвинул картуз и пошёл справляться о вечерней дойке – Пойду сам, сиськи пошшупаю. От коров молока только котяткам. Бяда!»

Надо, чтобы всё было чики-чики. Чин-по-чину. Аппаратуру протёр своим носовым платком. Покрутил ручку проектора – нормально!

Народу набилось полно избу. Картина какая-то душевная – «Мать». Может, это про Богородицу нашу, заступницу усердную? Может, теперь, после всего, что наделали, Бога

вспомнили? Каяться зачили? Всяко, может быть. Ишь, как дьявол их схватил за горлянку! Церкви порушили. Иконами печи топили. Может, унялись теперь?..

Настёнку посадил в первом ряду. За плечи попридержал – током по рукам вдарило, вроде, магнето крутанул, и провода к рукам прислонил.

– Давай, – кричат, – кинщик, начинай!

– Марья, поприкрути лампу!

Марья прикрутила фитиль, висящей на гнутом проводе лампы с большим стеклянным пузырём. «Летучая мышь» – название лампы такое, – теперь источала тлеющий свет, ровный и тихий, как от далёкого зари.

Тяжёлым шмелём загудело динамо. Сквозь дымные табачные разводы полыхнул и заметался ослепительный веник света. Замелькали, запрыгали прямо по белёной стене большие и малые буквы.

Киномеханик прокашлялся:

– «Мать». Произведение пролетарского писателя, любимого всем трудовым народом Максима Горького. Смотрите и слушайте, как делалась революция, светоч счастливой жизни.

Кто-то громко выматерился.

Киномеханик выключил аппарат.

– Попрошу без подобных комментариев! Лучше язык за зубами, чем за решёткой. Сергей, крути динамо!

Снова кузнечиком застрекотал киноаппарат, снова по сте-

не забегали суетливые серые тени, и трудно было понять в их суматохе, чего же они, то есть, эти размахивающие руками тени, хотят.

Текст под картинками быстро сменялся, а зрители, в большинстве своём неграмотные крестьяне, цокали языками, то ли что-то одобряя, то ли сожалея о своей непонятливости.

– Говори, Макаров, чегой-то они все бегают с вытаращенными глазами? Объясни! – кто-то крикнул из нетерпеливых зрителей.

А Макаров только этого и ждал.

– Зарубается-скалывается, начинается-сказывается, – сел он на своего конька. И понёс. И поехал! Всё, что знал, выложил и ещё больше прибавил. Над головами летело: – Язык – не мочало, но всё начну сначала.

Вот, оказывается, когда его время наступило! Щас он покажет, на что способен советский киномеханик, работник культурного фронта, окончивший для этого школу в самом граде Воронеже, где даже трамваи ходят, и улицы почти сплошь из камня...

– Па-пра-шу разговоры прекратить и слушать голос революции из самого сердца пролетарского фильма, сочинённого болельщиком народных масс Максимом Горьким для протрезвления от оголтелой жизни!

– Это что же, навроде похмелья, что ли? – в потёмках раздался чей-то заинтересованный голос. – Вместо рассолу?

Не обращая внимания на бесцеремонный голос, киноме-

ханик продолжал с интонацией, не терпящей пререканий:

– В сумерках царизма рабочий класс России жил на ощупь, и ни единой искорки, ни единого уголька не мигало в этой крошечной мгле. Как вдруг столинейной лампой в потёмках быта вспыхнула ленинская «Искра», осветив путь разуму, сдавленному тисками собачинства и других пережитков. «Вот он – свет! Вот она зга!» – воскликнул Павел, сын своей матери, забросив початую бутылку казённой водки под ноги топчущейся за его спиной безликой худосочной массе, называемым, если просто сказать, быдлом.

При упоминании о початой бутылке возникло весёлое возмущение. Но это никак не подействовало на дальнейшее славословие. Оратор, стоящий у стрекочущего аппарата, самозванный глашатай знал цену слову, которому он научился на политзанятиях в школе киномехаников, записывая каракулями все громкие выражения того времени, не всегда понимая смысл сказанного. Одним словом – «Зарубается-скалывается...»

Народ в душевной избе-читальне, в потёмках, вспоротых широким лучом проектора, только цокал языками: «Вот, бес! Умён, так умён! Откуда только нахватался? Шпендрит, как по газете!»

А тот, чувствуя всей кожей одобрительные восклицания, продолжал «рубить и скалывать»:

– Великой скорбью занялось материнское сердца! Сын мой, Павел! Проснись! Проснись и пой гимн трудовому на-

роду! Стань его заступником и ходатаем за справедливость!

Женская половина зрителей зашмыгала носом: «Конешно, мать. Куды ж денешься?»

Кинщик носовым платком смахнул на ходу невидимую пыль на линзах и вытер вспотевшую шею.

— ...И протёр глаза Павел. Заслонил всей грудью исковерканное и заплёванное рабочее достоинство. Начал составлять партийные списки и печатать подрывные прокламации. И вот возник вопрос — кто будет стоять на сквозняке революции, распространяя пролетарские воззвания кочегарам и станочникам, согбенным непосильным трудом на благо всепожирающему Молоху капитализма? И тогда, отбросив со лба прядь суровых волос, встала и поднялась русская женщина, битая-перебитая мужем-извергом, страдальца, мать несгибаемого Павла: «Я пойду на ветродуй, в народ, сынки!»

При этих, брошенных проникновенным голосом, словах теперь и мужики потянулись за куревом: «Вот эта настоящая родительница! Женщина и мать! Заступница за сынов своих, а мы, чувырлы неграмотные, укоряем, непочетниками зовём детей. По глазам хлещем за каждый самовольный шаг, за каждое баловство. А, вишь ты, по-другому надо разговор вести, по-умному. Глядишь, и у нас революция бы поднялась. А то опять в кабале ходим. Какие же заступники за нас? Самогон сызмальства хлестать, да по кобылкам зуд чесать только и умеют. А, видать, вон какие бывают дети! За весь мир умереть готовы! А наши-то — анчутки!»

Киномеханик продолжал витийствовать:

– Докумекал народ всю тяжесть своего гнёта. Врасхват пошли партийные Пашкины векселя на улучшение жизни.

Здесь, чтобы снизить чересчур казённый тон, он революционера Павла Зотова назвал так, по-свойски, Пашкой. Вроде, и он тоже был рядом с ним и подставлял своё плечо, облегчая бремя непокорного пролетария.

– А читающий народ, – передвижник-комментатор гордо возвысил голос, – читающий народ – это уже не ползущая тварь, а гражданин – честь имею! Но сатрапы царизма, полицейские ищейки вынюхали подпольную организацию, закабалившую себя заботой об униженных и забитых. Повязали рабочего заступника Павла цепями железными, обручами стальными и повели на суд. Смотрите – вот он, вдохновитель наших побед, стоит, гордо подняв голову и бросая своим мучителям в лицо одну фразу: «Мы закопаем вас в чернозём истории!» И мать, эта святая женщина, поддержала его, крича: «На этом навозе вырастут такие плоды, которые будут не по зубам стяжателям капитализма!». Всё! Конец фильма.

Зрители долго не хотели расходиться по домам:

– Молодец, Василий! Пропечатал ты им, храпоидолам, нашу правду. Пусть знают, как народ в ярмо загонять!

– Эт-та что, – тянется из толпы голос, – вот у нас на Святую Троицу всех на покос выгнали. Травы намахали – и что же? С Божьей помощью всё погнило, вымокла трава-то. Осень на дворе, а скотину в зиму кормить нечем. Так-то!

– Она что, твоя скотина, что ли? Колхозная. Вот теперь пушай умники из Совета думают, подсчитывают барыши на шиши. Стариков надо слушать и поперёк Бога не идить в сапогах яловых, как они ходють. Тьфу!

– Фёдор, фуй горластый, прищеми язык, а то он у тебя до ушей достаёт. Враз и оттяпают.

Разговор за разговорами, а уж месяц чистый, светлый ночь окольцевал. Среди звёзд ангелы небесные перинки взбивать начали, на покой готовиться. Пора и нашим передвижникам грузиться и – до своего двора.

Председатель слова не сдержал. Чего ж здесь прохлаждаться? Настёнке зябко. Плечами передёргивает. А тут как раз куртка поскрипывает. Накинул ей на плечи байкой подбитую кожу, тёплую ещё от его разгорячённого тела. Анастасия рукой не повела, не отстранила. Значит, не совсем безнадёжное его дело. Значит, резон будет. Попридержал за плечи куртку, огладил кожу, – как током прошибло! Ноги ослабли.

– Макарыч, ты чего? Подсоби динамо погрузить. Тяжёлая железяка фуева! – Сергей по привычке, забыв, что рядом находится сестра, громко матюкнулся.

Из темноты – кулак в челюсть. И вежливое:

– Попрошу не выражаться! Мы не в конюшне.

Оп-па! Двухпудовый электрический генератор уже в коляске, даже рессоры заплясали.

Жеребец Распутин, коротко ржанув, попытался было податься в дорогу, но, передумав, хлестнул себя хвостом и

только переступил ногами.

– Тпру! Чертяка! – напарник вдохновлённого оратора, вроде ничего не случилось, кнутом вожжам придержать застоявшуюся без догляда скотину. Потом, ни с того ни с сего, пнул Распутина в подбрюшье, отчего тот, недовольно мотнув головой, вскинул передние ноги и шарахнулся куда-то в сторону, вывернув передок телеги так, что она опрокинулась, и вся дорогостоящая аппаратура, стоящая на особом учёте в органах, как оружие идеологической борьбы, за которое беспартийный кинопередвижник нёс персональную ответственность, в чём и расписывался в книге учёта, вспугнув грохотом дремавших деревенских собак, вывалилась в заросшую лопухами и крапивой канаву.

– Нехорошо так делаешь, Серёжа! – скрипя зубами, особо вежливо, с расстановкой произнёс в темноту знаменитый в районе киномеханик.

Ух, и заварилась бы буча, не будь рядом прелестной скромницы, за которую готов был на всё поражённый в податливое сердце рядовой боец культурного фронта, недавний артельный парень Василий Макаров.

– Попридержи коня, он смирный, когда с ним по-человечески обращаются, – протянув ременные вожжи растерянно стоящей в стороне девушке, сказал он.

И, почувствовав её тёплую руку, сразу же отмягчел. Злость на товарища, может быть, только что раздолбавшего аппаратуру, за которую ему идти под суд, отпустила его, и

он, вздохнув, пошёл помогать тому, ставить телегу снова на колёса.

Аппаратуру, упакованную в фибровые чемоданы-футляры, конечно, могла бы перехрустать тяжёлая динамо-машина, но, к счастью, она пролетела мимо, и с ней пришлось повозиться, выволакивая её из пыльных крапивных зарослей.

– Прости, Макарыч, – только и сказал Сергей, подсаживая сестру в коляску.

– Ладно, – миролюбиво ответил «Макарыч». – Приедем, разберёмся.

Ехали домой молча. Умудрённый житейским опытом Распутин без понуканий и кнута шёл хоть и бегом, а неторопко. Лунный свет представлял чёрно-белую картину мира, словно всё ещё продолжало крутиться немое кино. Только теперь экран из небольшого квадрата вырос до панорамного.

Близкая осень ощущалась и в знобком настое воздуха, и в той неуловимой чистоте его, которая предшествует ранним заморозкам, проявляющимся по утрам в нежном инее на затенённых и ещё зелёных склонах оврагов. Под первым лучом солнца от инея остаётся только слабая волглость травы, и уже трудно верится, что здесь только что махнула кружевным подолом если не сама Зима матушка, то её дочка Снегурочка.

Хоть ехали молча, но каждый слушал своё.

Вяло передёргивая вожжи, Серёга в тяжёлом перестуке

копыт слушал казарменную дробь сапог в курсантской школе, где он учился отличать элерон от лонжерона, а глиссаду от пике. По дури выскочил из училища! Сидел бы теперь за штурвалом аэроплана, а не с вожжами в телеге...

Подбитая байкой куртка из мягкой кожи на плечах улыбаивой девушки ласково обнимала её, согревая теплом и отгораживая от крепкого бугристого тела молодого парня, бойкого на язык и решительного в поступках.

Она немного побаивалась неожиданного товарища Сергея, хотя и чувствовала, что этот, с чёрной косой повязкой на глазу человек, так непохожий на знакомых соседских парней, влюбился в неё по самые кончики ушей, и делает всё, чтобы ей понравиться.

Действительно, от него исходила какая-то уверенность и надёжность, которая заставляла проникнуться к нему доверием.

Девушка сидела спиной к движению и смотрела, как лениво перемигивается огоньками оставленная ими и потихоньку засыпающая деревня. Вот уже и огоньки стали редеть, редеть, и только кое-где кошачьим проблеском мелькнёт горящее окошко и тут же погаснет. На звёздном горизонте остались только чёрные тени уже облетающих листвой деревьев.

Сидеть было неудобно вот так, с настороженностью, и она, слегка расслабившись, почувствовала спиной тяжёлое мушкетерское тело, и ей стало по-девичьи радостно и легко.

Третий пассажир агитповозки под drobный топот спеша-

щего в персональную конюшню при районном доме культуры Распутина, казалось, ничего не слушал, а, закрыв глаза, находился, вроде как, в алкогольном расслаблении, улыбаясь неизвестно чему. Ему было по-молодому хорошо, да и только.

Сквозь тонкий сатин рубахи он чувствовал, как, споря с ночной стылостью, в него перетекает блаженное до невероятности тепло девичьего тела. И там, под сатином рубахи, тяжёлой удушливой волной накатывается нерасплёсканный в артельных скитаниях и на гуливых деревенских посиделках окиян-море. Волна распирала грудь, и было не вмоготу сдерживать гортанный крик восторга, запрокинув лицо к небу.

Хотя в Бондари приехали и поздно, но в окне Настиного дома горел терпеливый огонь. Сразу было видно, что здесь не жалеют керосина, что хозяева не спят неизвестно почему. Может, ждут кого, а, может, и просто так ночь просиживают.

– Ну, гляди, девка, попадёт тебе сейчас от отца, он на руку, сама знаешь, ох, какой быстрый! Не промахнётся, – подначил сестрёнку Сергей.

Та сердито толкнула его в спину, обиженная бесцеремонной болтовнёй брата, осознавая, что, действительно, от родителя можно ожидать и этого, несмотря на то, что она уже невеста, и ей вольно поступать, как она захочет. Зачем же позорить её в присутствии молодого человека, несамостоятельную и зависимую от отца и матери. Мать ещё ничего, поохает, да и по голове погладит, а отец, чуть что, сразу за ремень хватается, вроде она маленькая. Вот возьмёт, да и выйдет замуж, тогда не то что ремень, а не одна вожжа не достанет. Так-то!

– Ну, ты, братец, и наговоришь, как намолотишь. Прямо я отца испугалась? Смотри-ка! Ты мне лучше заднюю дверь открой, а то, может, родные спят уже. Я потихонечку в избу зайду, – она, легко спрыгнув с подножки, неуверенно переминалась рядом с повозкой. Было видно, что она ищет заступничество у брата.

– Ну, ладно, ладно, пойдём в избу, заслоню как-нибудь тебя. Попридержу у бати ремень, – не унимался брат, чувствуя, что сестра от смущения чуть не заплачет.

Тут слова из темноты резкий толчок кулака в бок. Как безменом садануло.

– Ну-ну, Макарыч! Что ты? Молчу! – Сергея с повозки как сдуло.

В ночи припадочно забилась щеколда, распугивая молчаливых обитателей, которые до утра попрятались по углам и щелям.

В окне мелькнула тень. В сенцах тяжело зевнула избяная дверь, и громыхнул грозный голос:

– Я те щас позвоню! Я-те побрыкаю щеколдой!

– Да это мы, папаня, отворяй сени. Вот Настёнку домой привезли. Я за ней присматривал, не ругайся! Надо же когда-нибудь её в кино свозить. Она девка хорошая!

– Надсмотрищик, твою мать! Хорошая-плохая – сам разберусь. По ночам спать не дают, паразиты, шатаются, – Степан Васильевич показался в дверном проёме, продолжая бурчать.

Настёнка скользнула мимо недовольного отца через тёмные сени в избу. Быстро разделась, а до горницы – шаг один, – в кружевную батистовую девичью постельку.

Несмотря на крутой нрав родителя, а Степан Васильевич в семье вольностей не допускал, в горницу, если там спала дочь, он никогда не заходил. Этим она теперь и воспользо-

валась, сразу нырнув с головой в прохладную, как речная заводь, и тихую, постель.

Тут же улыбчиво закачалась на волнах, уносимая в ту страну, где всё возможно.

А, между тем, в это время среди наших кинопередвижников в маленькой аппаратной районного клуба, где хранилось вверенное им казённое имущество, произошёл следующий разговор:

– Ё-к-л-м-нэ! Что же ты, физдюк, с аппаратурой сделал? – киномеханик нарочито громко и обречённо воскликнул, повернувшись к своему помощнику, сокрушённо вертя в руках круглые проекционные линзы и ещё что-то блестящее.

– Ты ж меня под тюрьму подводишь! Угрохал объективы, подлец! Всё – кранты мне! За саботаж статью припишут. Скажут – вредитель, кулацкое отродье, спецаппаратуру для идеологической обработки масс испортил и привёл в негодность. Пособник и двурушник, – скажут, – зловредитель, кончать таких надо!

Сергей рядом растерянно топтался на месте, стараясь оправдаться, что он не виноват и за жеребца отвечать не может.

– При чём здесь жеребец? Ты помнишь Петьку Ярыгу? Ну, тот, который под «Красный Фордзон» угодил? Ему трактором руку размолотило, а сел за торможение развития советской техники на селе. Как же, помнишь! А мне теперь что делать?

– Макарыч, ну, прости, если что, я виноват! Она сама из

телеги вывалилась. Может, что сделать можно? Я помогу...

– Что ты поможешь? Это тебе не гайки крутить. Тут лаборатория нужна. Точность. Не-е! Я сидеть не хочу. Пишу завтра на тебя докладную начальству, что ты из-за своей преступной халатности нанёс непоправимый ущерб народному хозяйству. Не, мне одному отвечать не хочется. Вместе сядем.

От такой перспективы у крутильщика динамо подкосились ноги. Действительно, Ярыгу ни за что посадили. А его, тем более, упекут.

– Прости, Макарыч!

А «Макарыч», имея что-то себе на уме, перед этим, пока его напарник ставил в конюшню Распутина, быстро разобрал проектор, развинтил кое-какие части и теперь вот шантажировал своего товарища, Настёнкина брата. А тот, поверя в угрозы, зашёлся страхом. Он знал, что за их работой следят органы, которые долго разбираться не умеют, а – раз, и в дамки!

Одним словом, – дорога дальняя, тюрьма центральная.

– Макарыч, не сдавай меня! Я для тебя всё сделаю. Вот те крест! – Серёга истово перекрестился, сразу вспомнив свою христианскую принадлежность. Может быть, мы как-нибудь отремонтируем? У меня часовой мастер знакомый. Он всё умеет.

– Не, Сергей Степанович, здесь не руки нужны, а голова и деньги. Бо-ольшие деньги!

– А, что же мне делать, если голова есть, а денег нет?

– Это хорошо, что ты за свою голову ручаешься, – Макарыч поскрёб пальцами затылок. – А коли голова – не кошёлка, подумай, чем мне помочь, когда я за тебя ответственность буду нести. Может, я эти детали в Тамбове выкуплю. Корову отец продаст, а я за неё тебя выручать буду. Подумай!

– Да чего тут думать? – воодушевился тот. – Я для тебя, Макарыч, всё сделаю. Ты только подскажи.

– А то сам не знаешь? Уговори свою сестру за меня замуж пойти. И мы с тобою квиты. А пока давай по домам расходитья. Тебе – рядом, а мне ещё целую версту топать... Не тоскуй, Серёга! – подбодрил он упавшего духом товарища. – Лучше подумай, как сестру уговорить, и мы – квиты! Начальство, хрен им в дышло, не разрешает Распутина во дворе держать. Боится, что овёс себе на кашу варить буду. Я бы сейчас, верхом да по дорожке, вмиг дома очутился – встречай, маманя!

«Вот чёрт косоглазый! – ругался про себя Сергей по дороге домой. – Пристал к Настёнке, как банный лист к заднице. И что он в ней нашёл? Девоч, что ли, мало? А её попробуй, уговори. Она, как коза, строптивая. На верёвочке её не приведёшь. Да и отец ни за что её за этого кинщика не отдаст. Он его на дух не переносит. На меня всех собак спускает, что я с ним скорешился. Лучше бы, – говорит, – на конюшню шёл дуги гнуть. Всё бы какая-нибудь польза была. Пустым делом занимаетесь, работнички. Сатану тешите. На Соловки, на лесоповал вас согнать надо!

Вспомнив отцовский нрав, Сергей расстроился окончательно. Конечно, он виноват, что проклятый Распутин по своей лошадиной дури рванулся невесть куда. Что ж, из-за этого жеребца под суд идти, что ли?

От одного понятия «суд» у Сергея под рубашкой мураши завоились. На русского человека слова «суд» и «прокуратура» всегда действовали, да и теперь действуют, как хорошая порция касторки. Враз почему-то в туалет тянет.

Из полной темноты перед ним тут же выросла тучная фигура бондарского прокурора Семёна Борзенко, бывшего коловца, гонявшего мужиков-антоновцев по тамбовским жирным чернозёмам.

Несгибаемый боец революции, как потом рассказывали,

будучи хорошо выпимши, похваляясь силой, с размаху располосовал шашкой от ключицы до паха крестьянского повстанца Жорку Присыпкина, затюканного бабой и жизнью бондарского мужика, который, то ли по недоразумению, а то ли от безысходности подался в народное ополчение для борьбы с оголтелыми подразвёрстниками, и по немощи своей выполнял роль лазутчика в этом правом деле.

Теперь время активной борьбы с врагами революции и перечняющим счастливой жизни прошло.

Несгибаемого котовца, ввиду его пролетарской нравственности, назначили в Бондари прокурором, чтобы немилосердное и зоркое око ревностно охраняло законный порядок в районе. За любое преступление «Борзой», как прозвали прокурора в народе, менее десятка лет отсидки не запрашивал, а мог и расстрельную статью предложить, как заговорщику и пособнику мирового капитализма за пьяный разговор на людях о наступившей невезухе, о несправедливости властей, да мало ли что может русский мужик наговорить на себя! Тогда девять граммов в лоб – и все дела!

Напуган был Сергей Степанович, ой, как напуган, что ему сам прокурор мерещиться стал! Пробирается он по тёмным закоулкам к дому и пугает сам себя: «Борзому только попадись на глаза, он сразу статью скомпонует. Вот, на что сосед ихний Ерёма Богомол мужик умный был, а и того Борзой загнал за можай. Приписал ему поджог собственного дома, как умышленное вредительство. А было так – дом хороший,

рубленный из товарного леса, его бы надо было в колхоз под правление приспособить, а этот Богомол заартачился, начал писать в область на произвол мастных властей, ну и сам напросился. Подослал знаменитый котовец своего негласного человека, и запыхал свечечкой пятистенки. И заголосили в доме новоявленные погорельцы – детишек одних пять человек, да Богомол с Богомолихой, да скотинка во дворе. Пока суть да дело, всё выгорело. Богомола связали за умышленный поджог. А о жене и детях позаботились – ребятишек по детским домам раскидали – управились, и Богомолиху, как душевнобольную, заговариваться глупая баба стала, определили по личному ходатайству прокурора в лечебницу для таких, как она. Лечись, коли медицина бесплатная! А-у! Где теперь сам Богомол? Спроси у Борзова, а и он не знает. В России Севера большие, в них затеряться немудрено, да и места на всех хватит...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.